



### ***Аннотация***

*В сборник вошли рассказы и повести русского советского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 - 1940), в которых автор использует фантастический прием: "Собачье сердце", "Роковые яйца", "Дьяволиада" и другие.*

## АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием.

Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едуци в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось.

В конце 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.

В берлинской газете "Накануне" в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.

Не при свете свечи, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу "Записки на манжетах". Эту книгу у меня купило берлинское издательство "Накануне", обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен.

Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде. Год писал роман "Белая гвардия". Роман этот я люблю больше всех других моих вещей.

Москва, октябрь 1924 г.

## ЗВЁЗДНАЯ СЫПЬ

Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

– Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», – подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалывшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и сучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он – сифилис», – вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я – врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке,

странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки<sup>1</sup>», – отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?

Решил положить на окно, на комок ваты.

– Вот что, – сказал я, – видите ли... Гм... По-видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь – сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...

Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недовере.

– Сифилис у вас, – повторил я мягко.

– Это что же? – спросил человек с мраморной сыпью.

---

<sup>1</sup> ...«Кажется, он кашлянул мне на руки»... — Природная брезгливость (физическая и нравственная) к нечистоплотности была у Булгакова просто удивительной. В этом смысле весьма характерной является дневниковая запись Е. С. Булгаковой от 11 июля 1939 г.: «Вчера... пошли поужинать в Жургаз. Там оказались все: и Олеша, и Шкваркин, и Менделевич, и мхатчики, и вообще знакомые физиономии... К нашему столу все время кто-то подсаживался: несколько раз Олеша, несколько раз Шкваркин, Дорохин, подходили Станицын, Комиссаров... Мхатчики и писатели – конечно – все о пьесе („Батум". – В. Л.). Уж ей придумывают всякие названия, разговоров масса. Кончилось все это удивительно неприятно. Пьяный Олеша подозвал вдребезги пьяного некоего писателя Сергея Алымова знакомиться с Булгаковым. Тот, произнеся невозможную ахиною, набросился на Мишу с поцелуями. Миша его отталкивал. Потом мы сразу поднялись и ушли, не прощаясь. Олеша догнал, просил прощения. Мы уехали... домой. Что за люди! Дома Миша долго мыл одеколоном губы, все время выворачивал губы, смотрел в зеркало и говорил – теперь будет сифилис!»

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

– Застегивайтесь, – заговорил я, – у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я запнулся, потому что – клянусь! – прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с иронией.

– Глотка вот захрипла, – молвил пациент.

– Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

– Мне бы вот глотку полечить, – вымолвил он.

«Что это он все свое? – уже с некоторым нетерпением подумал я. – Я про сифилис, а он про глотку!»

– Слушайте, дядя, – продолжал я вслух, – глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться – два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

– Что ж так долго? – спросил пациент. – Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...

– Вы женаты? – спросил я.

– Жанат, – изумленно отозвался пациент.

– Жену немедленно пришлите ко мне! – взволнованно и страстно говорил я. – Ведь она тоже, наверное, больна?

– Жану?! – спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить?

Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я

вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался<sup>2</sup> на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь – великое средство.

– Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетiku в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...

– ...Сегодня – в руку, завтра – в ногу, потом опять в руку – другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...

– И глотку? – спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился.

– Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с

---

<sup>2</sup> ...справочник... с которым я не расставался... – В архиве писателя сохранился справочник: Рецепты и фармакопей: Пособие при прописывании лекарственных веществ для врачей и студентов. Авт. д-р Рабов, проф. Лозанского ун-та. 6-е изд. М., 1916. Книга имеет владельческий штамп: «Доктор М. А. Булгаков».

Булгаков пользовался еще одним справочником: *Канторович Э. Praescriptiones* : Сборник рецептов для клиники и практики / Предисл. проф. Г. Сенатора; Пер. д-ра В. Лазарева. 3-е изд. Пг.; Киев, 1915. Имеет тот же владельческий штамп: «Доктор М. А. Булгаков».

моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услышал бегло хриплый шепот:

– Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь – вот-те и ночь. О, Господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

– Без внимания, без внимания, – подтвердил бабий голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

...Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться, и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет в книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощенной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

— Как же, как же, давал... — скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...

Привет вам, мой товарищ!

*«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездиите к нашему доктору, покажсь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.*

*Супруг Ваш Ан. Буков».*

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

– Подлец он! А?! – выкрикнула она.

– Подлец, – твердо ответил я.

Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль – сифилис.

– Подлец, подлец, – всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.

– Подлец, – вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна, и тяжело набрякли веки над черными отчаянными глазами.

– Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, – говорила она сухим измученным голосом.

– Погодите, погодите, – бормотал я, – видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

– Ах, прохвост, ах, прохвост, – сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были как две черные ямки, она всматривалась в окно – в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

– Знаете что, – сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, – знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

– Нет? – сипло спросила женщина. – Нет? – Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. – А вдруг сделается? А?..

– Я сам не пойму, – вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, – судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

– Ничего нет, – как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли

мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около девяноста процентов за благополучный исход. Прошел с лихвой первый двадцатидневный знаменитый срок. Остались дальние случаи, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, последний раз ощупав железы, я сказал женщине:

– Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это – счастливый случай.

– Ничего не будет? – спросила она незабываемым голосом.

– Ничего.

Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток – два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавливами от пальцев, с проступившей на нем росой.

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх? Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие

годы. Первым был тот – со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновыми лампами работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинные. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Передо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngit»... еще и еще... Но вот он! «Lues III». Ага... И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

***Rp. Ung. hydrarg. ciner. 3,0 D.t.d...***

Вот она – «черная» мазь.

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются... вновь «Lues»...

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе. Реже попадался третичный. И тогда йодистый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнувшие плесенью амбулаторные, забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса – бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

– Это значит... – говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, – это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе<sup>3</sup> и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный и бурный при этом – сифилис. Когда глотка болит и на теле появляются мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, тридцати двух лет, и ему дадут серую мазь... Ага!..

Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.

– Я найду этого Семена Хотова. Гм...

Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

– Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

---

<sup>3</sup> ...это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе... – Об этом же вспоминала и Т. Н. Лаппа, отметившая крайнее невежество местных жителей: «Бывало, правда, когда Михаил сердился на своих пациентов, как только сталкивался с их невежеством. А было от чего сердиться и нервничать. Занесенные с фронта венерические болезни быстро распространялись по селам. Пораженные этой болезнью обращались к врачу. Михаил назначал курс лечения, но его пациенты, не сознавая серьезности своего состояния и дальнейшей своей судьбы, в большинстве случаев самостоятельно прерывали лечение, ссылаясь на постоянную занятость в поле и дома. Это очень огорчало его как врача, он горячился, нервничал и часто сам ездил к этим больным, не дожидаясь их повторного обращения» (Запись А. П. Кончаковского).

Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голо-  
сом. Посмотрим: деньков через десять—двенадцать должен  
Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим,  
посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет  
через десять дней, нет через двадцать... Его вовсе нет. Ах,  
бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная  
сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И  
погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого  
Семена с гуммоznыми язвами у себя на приеме. Цел ли его  
носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный  
Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. По-  
чему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте,  
почему же ему выписан каломель с молочным сахаром в  
маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову два года! А у  
него «Lues II»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана  
Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких док-  
торских рук. Все понятно.

— Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у маль-  
чишки двух лет первичная язва, без которой не бывает  
ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ло-  
жечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского до-  
ма! Да, много интересного расскажет старая амбулатория  
юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это мать Ивана. На руках-то у  
нее он и плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Марья Карпова, 8 лет».

А это кто? Сестра! Каломель...

Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека – Карпова лет тридцати пяти – сорока... И неизвестно, как его зовут – Сидор, Петр, О, это неважно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»

Вот он – документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей – Марья, за Марьей – Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, семьдесят лет. «Lues II». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловатый рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

– Я буду с «ним» бороться.

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало сто человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То появлялся в виде беловатых язв в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда

он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и не замеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он тайлся и в костях, и в мозгу.

Я узнал многое.

– Перетирку велели мне тогда делать.

– Черной мазью?

– Черной мазью, батюшка, черной...

– Накрест? Сегодня – руку, завтра – ногу?

– Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она – гума!...»

– Дурной болью болел?

– Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.

– Угу... Глотка болела?

– Глотка-то? Болела глотка. В прошлом годе.

– Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?

– Как же! Черная, как сапог.

– Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем

и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок и я вернусь в университетский город и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

– Сыпь кинулась на ребят, – сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

– Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнувшие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

– Простуда, что ли? – сказала мать, глядя безмятежными глазами.

– Э-х-эх, простуда, – ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот. – Весь Коробовский уезд у них так простужен.

– А с чего ж это? – спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

– Одевайся, – сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом заговорил:

– У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться, и лечиться долго.

Как жалко, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

– Скудова же это<sup>4</sup>?

Потом криво усмехнулась.

– Скудова – неинтересно, – отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, – другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

– А что? Ничаво не будет, – ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала, И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жест-

---

<sup>4</sup> – Скудова же это? – Это простонародное выражение «скудова» (откуда) Булгаков использовал во многих своих сочинениях, например в «Беге» буденновец Баев, пораженный сообщением о внезапном появлении белых, вскрикивает: «Да что ты врешь! Скудова?»

кими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

– Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков<sup>5</sup>.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

– Что вы, доктор, – отозвался он (великий скептик был), – да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету... А готовить?... А посуда, шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:

– Добьюсь!

Прошел месяц...

В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельешко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый – люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания сальварсана.

---

<sup>5</sup> ...добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков. – Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «Обстановка изменилась только тогда, когда Михаил уговорил начальство открыть при больнице небольшое венерическое отделение. Скоро он освоился, стал авторитетным специалистом. К нему начали привозить больных из отдаленных селений, несмотря на то что в тех краях имелись штатные врачи. Обращались к нему за помощью и его коллеги, когда приходилось им туго в своем захолустье» (Запись А. П. Кончаковского).

Во всей округе действовали всего три такие венерические ячейки, и заслуга доктора Булгакова была наглядной и неоспоримой. Не случайно же память о докторе Липонтии и Булгакове жила в смоленских селах долгие десятилетия.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее – во флигельке лежали семь мужчин и пять женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

– К завтраму, стало быть, выпишусь, – сказала мать, поправляя кофточку.

– Нет, нельзя еще, – ответил я, – еще один курс придется претерпеть.

– Нет моего согласия, – ответила она, – делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:

– Ты... ты знаешь, – заговорил я и почувствовал, что багровею, – ты знаешь... ты дура!..

– Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки – ругаться?

– Разве тебя дурой следует ругать? Не дурой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань по сравнению с звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто?

Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

## ВЬЮГА

*То, как зверь, она завоет,*

*То заплачет, как дитя.*

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стало ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Остановиваясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль: как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех!

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-молнии.

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать, – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заклучали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтеритную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра, в среду. Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил – стук.

– Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, – вы проснулись?

– Угу, – ответил я диким голосом спросонья.

– Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехало.

– Вы – что. Шутите?

– Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, – повторила она радостно в замочную скважину. – А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

– Да ну... – Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная: три комнаты вверху, а кухня и три [комнаты] внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное.

Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и

косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксињье, исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире, приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксињьей было из кладовки извлечено невероятных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в Н-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице, и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

— Эт-то я понимаю... — сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, — это я понимаю. А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я выплусь, то пусть завтра хоть полтора человека приезжает. — Какие новости, Аксињья?

Аксињья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

— Конторщик в Шалометьевом имении женится, — отвечала Аксињья.

— Да ну! Согласилась?

— Ей-Богу! Влюбле-ен... — пела Аксињья, погромыхивая посудой.

— Невеста-то красивая?

— Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

— Скажи, пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться...

- Доктор-то купается... – выпевала Акуинья.
- Бур... бур... – бурчал бас.
- Записка вам, доктор, – пискнула Акуинья в скважину.
- Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из руки Акуиньи сыроватый конвертик.

– Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, – не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак).

Умол... (зачеркнуто). Прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост... (зачеркнуто)... из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».

«Мне в жизни не везет», – тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

- Мужчина записку привез?
- Мужчина.
- Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

– Почему вы в каске? – спросил я, прикрывая свое немытое тело простыней.

– Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда... – ответил римлянин.

- Это какой доктор пишет?

– В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

– Какая женщина?

– Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

– Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

– Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатавать ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло, да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел...

– Купаюсь я, – жалобно сказал я, – ее сюда-то чего же не привезли? – И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

– Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, – почувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, – никакой возможности. Помрет девушка.

– Как же мы поедем-то? Вьюга!

– Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я коротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода

нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, ад-реналин, торзионные пинцеты, стерильный, материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто по-легче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки по-шли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

– Пожарные лошади? – спросил я сквозь бараний воротник.

– Угу... гу... – пробурчал возница, не оборачиваясь.

– А доктор что ей делал?

– Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу... гу...

Гу... гу... загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога бе-

лого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел – пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

– Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я.

– Слушаю, – ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

– Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. – Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: – Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, намазывая на пальцы.

– Перестаньте, – сказал я и стиснул ему руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два

портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

– Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розовой от крови ватой.

– Пульс... – шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

– Умерла, – сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

– Тише, тише, – сказал я на ухо этой женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

– Он меня замучил, – очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

– Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог лучше, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал...

– Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, – говорил мне врач шепотом в передней. – Останьтесь, переночуйте...

– Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

– Да они-то доставят, только смотрите...

– У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

– Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

– Дорогу-то вы знаете? – спросил я, кутая рот.

– Дорогу-то знаем, – очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), – а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

– Надо остаться, – прибавил и второй, держащий разъяренный факел, – в поле нехорошо-с.

– Двенадцать верст... – угрюмо забурчал я, – доедем. У меня тяжелые больные... – И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

– Однако это здорово... – не то подумал, не то забормotal я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль – а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дне саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом

основания черепа... Да, да, да... Ага-га... именно так». Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя такая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге. Я один, а больных-то тысячи... Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

– Приехали? – спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без всякой почтительности:

– Приехали.... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим, и лошадей...

– Неужели дорогу потеряли? – У меня похолодела спина.

– Какая тут дорога, – отозвался возница расстроенным голосом, – нам теперь весь белый свет – дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул

спички. Затем, это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет – и мгновенно огонь слизнет.

– Говорю, часа четыре, – похоронно молвил возница, – что теперь делать?

– Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него ответить. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

– Сами стали?

– Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кое-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, – думал я, – его, небось, не возили к умирающим...»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

– Это малодушие... – пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

– Вот что, дядя, – заговорил я, чувствуя, что у меня стынют зубы, – унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница

полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

– Но-о, – застонал возница.

– Но! Но! – закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался впереди.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

– Мелко, дорога, – закричал я.

– Го... го... – отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос.

– Кажись, дорога, – радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный. – Лишь бы опять не сбиться... Авось...

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но сверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

– Жилье, может, почувствовали? – спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Станный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало, и вспомнился конторщик и как он тонко

скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

– Видели, гражданин доктор?

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном.

Кошка выросла в собаку и покатила невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» – думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

– Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, – выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом

второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело... Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

– Ого... го... вон он... вон... Господи, выноси, выноси...

Я наконец справился с тяжелою овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь... – мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» – промыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я – наверху этой лестницы, Акси́нья в тулупе – внизу.

– Озолотите меня, – заговорил возница, – чтоб я в другой раз... – Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крикнул страшно, обернулся к Акси́нье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: – Во величиной...

– Померла? Не отстояли? – спросила Акси́нья у меня.

– Померла, – ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к

книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

— Озолотите меня, — задремывая, пробурчал я, — но больше я не по...

— Поедешь... ан поедешь... — насмешливо засвистала вьюга.

Она с громом проехала по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

— Поедете... по-е-де-те... — стучали часы. Но глуше, глуше.

И ничего. Тишина. Сон.

## МОРФИЙ

### I

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный

город<sup>6</sup>. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за тридцать копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

---

<sup>6</sup> ...перенесла с глухого участка в уездный город. – Восторг Булгакова в связи с переездом в Вязьму (20 сентября 1917 г.) не разделяла Т. Н. Лаппа, ибо все ее мысли были направлены к одному – болезни мужа. Вот позднейшие воспоминания, записанные Л. Паршиным незадолго перед ее смертью: «Вязьма – такой захолустный город. Дали нам там комнату. Как только проснулись – „иди ищи аптеку“. Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть – „иди в другую аптеку, ищи“. И вот я в Вязьме так искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните, его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: „Ты только не отдавай меня в больницу“. Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, – „Как же я его оставлю? Кому он нужен?“ Да, это ужасная полоса была...» (Паршин Л. Указ. соч.)

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия<sup>7</sup>, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня!), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одно-

---

<sup>7</sup> ...газетами, содержащими в себе потрясающие известия... — Булгаков, проявляя острейший интерес к политическим событиям в России, собирал различные газеты, рассказывающие о потрясениях того времени, начиная с Февральской революции и отречения Николая II от престола. Лелея мысль написать грандиозный исторический роман о «потрясающих» событиях в России, Булгаков в течение ряда лет приобщал к своей «коллекции» наиболее любопытные сведения. К сожалению, романа этого он не написал.

этажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? – Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом – главный врач-хирург. Воспаление легких? – В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать

(про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынувший чай, и сон после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого вьюжного участка.

## II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... Ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май – и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло – при-

дется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни....»

Так думал я.

«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно, нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка...

Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку десять лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случаев! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?..

Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать...»

– Вот письмо. С оказией привезли...

– Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.

– Вы сегодня дежурите в приемном покое? – спросил я, зевая.

– Я.

– Никого нет?

– Нет, пусто.

– Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо), кого-нибудь привезут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...

– Хорошо. Можно иттить?

– Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...

Я усмехнулся.

«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

– Ничего не понимаю... Путаный рецепт... – пробормотал я и уставился на слово «morphini...». Что, бишь, тут необычайного в этом рецепте?.. Ах да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«11 февраля 1918 года.

*Милый collega!*

*Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжело и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.*

*Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.*

*Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».*

– Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

– Сейчас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

– Кто привез письмо?

– А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

– Гм... ну ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

– Хорошо.

Моя записка главному врачу:

«13 февраля 1918 года.

*Уважаемый Павел Илларионович! Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.*

*Уважающий Вас д-р Бомгард<sup>8</sup>».*

Ответная записка главного врача:

*«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте,  
Петров».*

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать тридцать верст по железной дороге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью, – думал я, лежа в постели. – Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: „Я заболел воспалением легких“. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... „Тяжко... и нехорошо заболел...“ Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом.

---

<sup>8</sup> ...д-р Бомгард... – Пока никто не объяснил происхождение этого загадочного имени, хотя попытки были (см.: Галинская И. Л. Загадки известных книг. М., 1986. С. 101).

Он в ужасе... он скрывает... он боится... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, со щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать.

«В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через выюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему двадцать пять лет... „Тяжко..." Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. „Надежда блеснет..." – в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче...

Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп...

Хм, да... ну, это сон...

### III

Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат... ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард.

Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!

В дверь тихо постучали.

– В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

– Кого привезли?

– Доктора с Гореловского участка, – хрипло и громко ответила сиделка, – застрелился доктор.

– По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

– Фамилии-то я не знаю.

– Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась – и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

– Ваш? Поляков? – спросил, покашливая, хирург.

– Ничего не пойму. Очевидно, он, – ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

– Поляков? – спросил я.

– Да, – ответила Марья Власьевна, – такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довести...

– Когда?

– Сегодня утром, на рассвете, – бормотала Марья Власьева, – прибежал сторож, говорит... «у доктора выстрел в квартире...».

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли – и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

– Бросьте камфару. К черту.

– Молчите, – ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

– Сердечная сумка, надо полагать, задета, – шепнула Марья Власьева, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

– Револьвер? – дернув щекой, спросил хирург.

– Браунинг, – пролепетала Марья Власьева.

– Э-эх, – вдруг, как бы злобно и досадую, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

– Доктора Бомгарда, – еле слышно сказал Поляков.

– Я здесь, – шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

– Тетрадь вам... – хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

*«Милый товарищ!*

*Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересуется Вас, прочтите историю моей болезни.*

*Прощайте. Ваш С. Поляков».*

Приписка крупными буквами:

*«В смерти моей прошу никого не винить.*

*Лекарь Сергей Поляков.*

*13 февраля 1918 года».*

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке<sup>9</sup>. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, в начале карандашом или чернилами, четким мелким по-

---

<sup>9</sup> ...тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. – Следует отметить, что подавляющее большинство своих произведений Булгаков написал именно в таких общих клеенчатых тетрадях, правда, разного цвета. Десятки тетрадей вобрали в себя романы «Мастер и Маргарита», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника», пьесы «Адам и Ева», «Кабала святош», «Полоумный Журден», «Блаженство», «Иван Васильевич», «Александр Пушкин», «Батум», либретто «Минин и Пожарский», «Петр Великий», «Рашель» и др. Несколько тетрадей одного произведения имеют, как правило, единую авторскую нумерацию. Чаще всего тетради содержат не только текст произведения, но и материалы к нему (выписки, наброски, библиографию, рисунки, схемы, таблицы и проч.). Вообще, рукописи Булгакова по своей внешней красоте уступают разве что автографам великого Достоевского...

черком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

#### IV

*«...7 год, 20 января.*

...и очень рад. И слава Богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

*21 января.*

Вьюга. Ничего.

*25 января.*

Какой ясный закат. Мигренин – соединение antipyrin'a coffein'a и ac. citric.

В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.

*3 февраля.*

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне...»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...

(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)

...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить – ушла. И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить! Ах, как все глупо, пусто. Безднадежно! Не хочу думать. Не хочу...

*11 февраля.*

Все вьюги, да вьюги... Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна – фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

15 февраля.

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался лечь спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий<sup>10</sup>. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна Кирилловна очень милый и развитый человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

---

<sup>10</sup> ...и вынуждена была впрыснуть мне морфий. – Существует несколько вариантов воспоминаний Т. Н. Лаппа, которые записывались в разные годы. О заболевании Булгакова морфинизмом также имеется несколько записей. Вот одна из них: «Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию... а потом Михаил стал пленки из горла отсасывать и говорит: „Знаешь, мне кажется, пленка в рот попала. Надо сделать прививку“. Я его предупредила: „Смотри, у тебя губы распухнут, лицо распухнет, зуд будет страшный в руках и ногах“. Но он мне все равно: „Я сделаю“. И через некоторое время началось: лицо распухает, тело сыпью покрывается, зуд безумный... А потом страшные боли в ногах. Это я два раза испытала. И он, конечно, не мог выносить. Сейчас же: „Зови Степаниду“... Она приходит. Он: „Сейчас же мне принесите, пожалуйста, шприц и морфий“. Она принесла морфий, впрыснула ему. Он сразу успокоился и заснул. И ему это очень понравилось. Через некоторое время, как у него неважное состояние было, он опять вызвал фельдшерицу... Вот так это и началось...» (Паршин Л. Указ. соч.).

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли.

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, – без мыслей о моей, обманувшей меня.

*16 февраля.*

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым.

– Разве я хмурый?

– Очень, – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

– Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

18-го.

Четыре укола не страшны.

25 февраля.

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач, 1/2 шприца = 0,015 morph.? Да.

\* \* \*

1 марта.

Доктор Поляков, будьте осторожны.

Вздор.

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я – мужчина.

Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются...

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это

высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда, к черту, годится человек, если малейшая невралгика может выбить его совершенно из седла!

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громадной силой воли.

*2 марта.*

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять.

И сплю сладко.

*10 марта.*

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот – я вижу жутко освещенную рампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна... (в нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, а в моем сне она

слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой – замечательный писатель!

Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски «Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, – восемь часов, – это Анна К., идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера:

*Анна.* Сергей Васильевич...

*Я.* Я слышу... (тихо музыке – «сильнее»).

Музыка – великий аккорд.

Ре-диез...

*Анна.* Записано двадцать человек.

*Амнерис* (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.

Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

*19 марта.*

Ночью у меня была ссора с Анной К.

– Я не буду больше готовить раствор.

Я стал ее уговаривать:

– Глупости, Аннуса. Что я, маленький, что ли?

– Не буду. Вы погибнете.

– Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

– Лечитесь.

– Где?

– Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку.

– Да что я, морфинист, что ли?

– Да, вы становитесь морфинистом.

– Так вы не пойдете?

– Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц – оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, – ни одной трещинки. Просидел в спальне около двадцати минут. Выхожу – ее нет.

Ушла.

Представьте себе – не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

– Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

– Не дам.

– Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам как врач.

Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость.

Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она:

– Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я – жалеючи вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо).

– Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и тряся.

И слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

– Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

– Давайте сделаю...

Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

– Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклинаяю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

– Сколько вы сейчас впрыснули?

– Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.

Она сжала голову и замолчала.

– Да не волнуйтесь вы!

В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, morphium hydrochloricum грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственно верный, настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию...

*8 апреля 1917 года.*

Это мучение.

*9 апреля.*

Весна ужасна.

Черт в склянке. Кокаин – черт в склянке!

Действие его таково:

При впрыскивании одного шприца двухпроцентного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной ломаной и черной тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать – не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав иодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологии, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью.

И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни...

*13 апреля.*

Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я – полутруп...

*6 мая 1917 года.*

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки: в 5 часов дня (после обеда) и в 12 часов ночи перед сном.

Раствор трехпроцентный, два шприца. Следовательно, я получаю за один раз – 0,06.

Порядочно!

Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего

особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдает меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас сколько угодно), и говорит:

— 40 грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею...

Он говорит:

— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.

И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не

найти, вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

*18 мая.*

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания...»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Двигается, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды райская, блаженная смерть по срав-

нению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги...

Смерть – сухая, медленная смерть...

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вдох. Еще вдох.

Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой...

Три шприца трехпроцентного раствора. Этого мне хватит до полуночи...

Вздор. Эта запись – вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Этою глупую борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)

...ря

...ать рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

14 ноября 1917 г.

Итак, после побега из Москвы из лечебницы<sup>11</sup> доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице<sup>12</sup>. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханьем...

---

<sup>11</sup> ...после побега из Москвы из лечебницы... – Это одна из таинственных записей «доктора Полякова». Никаких сведений о пребывании Булгакова в московской лечебнице не обнаружено. Известно лишь, что Булгаков несколько раз ездил в Москву, чтобы освободиться от воинской службы. В феврале 1918 г. это ему удалось.

<sup>12</sup> Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. – Запись эта фактами не подтверждается, зато сохранились письма из Вязьмы, в которых Булгаковы ясно выражают свое отношение к происходящим событиям. 30 октября 1917 г. Т. Н. Лаппа писала Н. А. Земской: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся, и состояние ужасное...»

31 декабря того же года Булгаков пишет обстоятельное письмо Н. А. Земской, в котором очень четко излагает свои впечатления о двух происшедших в России революциях. Вот эти строки: «Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть.

Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... Тупые и зверские лица... Видел толпы, которые осаждали подьезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут в сущности об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло».

Многие беды Булгакова происходили от чрезвычайно простой вещи: он всегда правильно оценивал происходящее. А такие люди в России обречены на неизбежные страдания.

(Здесь страница вырвана.)

...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору N. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он – психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

– Спасибо, – и добавил: – Что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

– Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

– Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите?..

– Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, когда происходят все эти события... меня совершенно издергала стрельба...

– Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все... холодные коридоры... пустые, масляной краской выкрашенные стены... и я ползу, как

собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей ванны?.. Уколы в 0,005 морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мною дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.

– Я не тюремный надзиратель, – не без раздражения молвил он, – и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем... – он выразительно повторил мой жест испуга, – я вас не держу-с.

– Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас, – и даже голос мой жалостливо дрогнул.

– Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т.д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:

– Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

– Доктор Поляков! – раздалось мне вслед. Я обернулся,

держась за ручку двери. – Вот что, – заговорил он, – одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже... И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).

– Я, – сказал я глухо, – умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это сделать?

– Идите, – досадливо крикнул он, – идите. Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут...

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... Почему?..

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? По совести?

Взломал бы.

Итак, доктор Поляков – вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я де-

генерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм однопроцентного раствора – вещь для меня бесполезная и нудная (9 шприцов придется впрыскивать). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах – написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист? Кому какое дело, в конце концов?

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, – способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость<sup>13</sup>...

---

<sup>13</sup> ...одиночество – это важные, значительные мысли... спокойствие, мудрость...

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

Забыл.

*18 ноября.*

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом.

Распад личности – распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания (теперь я делаю впрыскивания три раза в день по три шприца четырехпроцентного раствора). Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да... Так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и ушел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больнице... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

---

– Как мы уже отмечали, об этом же Булгаков говорил своему другу А. П. Гдешинскому в Киеве. А вот что Булгаков писал Н. А. Земской в уже упомянутом предновогоднем письме 31 декабря 1917 г.: «...я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю...»

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро, и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом, старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно – почему на холоде старушонка просто-волосая, в одной кофточке?.. А потом: откуда старушонка? Какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса<sup>14</sup>! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине – понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли<sup>15</sup>. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки – вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию...

И я прибежал.

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.

---

<sup>14</sup> ...и на десять верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса! – Все это припомнилось писателю при завершении работы над романом «Мастер и Маргарита»: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти...»

<sup>15</sup> ...летит, не касаясь земли. – Ср. с рассказом А. Чехова «Черный монах», отсылки на который еще не раз будет делать Булгаков в своих сочинениях.

19 ноября.

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го:

*Анна.* Фельдшер знает.

*Я.* Неужели? Все равно. Пустяки.

*Анна.* Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь<sup>16</sup>. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри.

*Я.* Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

*Анна.* Ты посмотри – они же прозрачны. Одна кость и кожа... Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа. Уезжай, заклинаю тебя, уезжай...

*Я.* А ты?

*Анна.* Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

*Я.* Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

*Анна* (печально). Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис – жена?

*Я.* О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее. Вместо нее – морфий.

*Анна.* Ах ты, Боже... что мне делать?..

---

<sup>16</sup> Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. – Конечно, нельзя полностью полагаться на воспоминания, которые к тому же записываются спустя пятьдесят шесть лет, но совпадения все-таки поразительные! Вот как запомнила Т. Н. Лаппа эти трагические дни: «Я не знала, что делать, чувствовала, что это не кончится добром. Но он регулярно требовал морфия. Я плакала, просила его остановиться, но он не обращал на это внимания. Ценой невероятных усилий я заставила его уехать в Киев, в противном случае, сказала я, мне придется покончить с собой. Это подействовало на него, и мы поехали в Киев...» (Запись А. П. Кончаковского).

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

*27 декабря.*

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок – женщина-врач.

Анна – здесь... Будет приезжать ко мне...

Хоть тридцать верст.

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, Левково. Анна, до свидания.

*1918 год*

*Январь.*

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

*15 января.*

Рвота утром.

Три шприца четырехпроцентного раствора в сумерки.

Три шприца четырехпроцентного раствора ночью.

*16 января.*

Операционный день, поэтому большое воздержание – с ночи до 6 часов вечера.

В сумерки, – самое ужасное время – уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:

– Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все прошло сразу.

*17 января.*

Вьюга – нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

Здесь нужно быть осторожным – здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран. И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе

никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня, в отпуск.

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

*18 января.*

Была такая галлюцинация:

Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь, действительно, это мучение, а не жизнь.

Гладко ли я выражаю свои мысли?

По-моему, гладко.

Жизнь? Смешно!

*19 января.*

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфия, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?..»

Но удержался, удерж...

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Ничем.

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты, слабый. Руки не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна и на ней венец. Ничто не страшно после укола.

*1 февраля.*

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля<sup>17</sup>.

Исполню ли я ее?

Да. Исполню.

Е. т. буду жив.

---

<sup>17</sup> *Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.* – В конце февраля Булгаковы возвратились в Киев. Скрыть от матери и других близких родственников тяжкий недуг было невозможно. Началась настоящая борьба со смертельным врагом – неизлечимой болезнью. К сожалению, этот важнейший период в жизни Булгакова Т. Н. Лаппа изложила и нечетко, и даже двусмысленно. Не исключено и влияние интервьюеров. Вот ее первое воспоминание в записи А. П. Кончаковского: «И тогда я обратилась к Ивану Павловичу Воскресенскому (второй муж Варвары Михайловны, матери Булгакова, врач. – В. Л.) за помощью. Он посоветовал вводить Михаилу дистиллированную воду. Так я и сделала. Я уверена, что Михаил понял, в чем дело, но не подал вида и принял „игру“. Постепенно он отошел от этой страшной привычки. И с тех пор никогда больше не только не принимал морфия, но и никогда не говорил о нем».

Более пространными оказались ее воспоминания (позднейшие), зафиксированные Л. К. Паршиным: «Варвара Михайловна сразу заметила: „Что это какой-то Михаил?“ Я ей сказала, что он больной и поэтому мы и приехали. Иван Павлович сам заметил и спрашивает как-то: „Что ж это такое?“ – „Да вот, – я говорю, – так получилось“. – „Надо, конечно, действовать“. Сначала я тоже все ходила по аптекам, в одну, в другую, пробовала раз принести вместо морфия дистиллированную воду, так он этот шприц швырнул в меня... „Браунинг“ я у него украла, когда он спал, отдала Кольке с Ванькой... А потом я сказала: „Знаешь что, больше я в аптеку ходить не буду. Они записали твой адрес...“ Это я ему наврала, конечно. А он страшно боялся, что придут и заберут у него печать. Ужасно этого боялся. Он же тогда не смог бы практиковать. Он говорит: „Тогда принеси мне опиум“. Его тогда в аптеке без рецепта продавали... Он сразу весь пузырек... И потом очень мучился с желудком. И вот так постепенно он осознал, что нельзя больше никаких наркотиков применять... Он знал, что это неизлечимо. Вот так это постепенно, постепенно и прошло...»

Конечно, нельзя исключить, что могут появиться и другие воспоминания об этом сложнейшем периоде жизни Булгакова (возможно, близких родственников), но и сейчас уже можно сделать вывод: *Булгаков сам, и только сам, победил эту чудовищную болезнь!* Сбивчивые и порою наивные рассуждения Татьяны Николаевны, потерявшие остроту и не отражающие внутреннего состояния героя, тем не менее свидетельствуют именно об этом фантастическом факте. Кто знает, быть может, со временем будут открыты и свидетельства самого Булгакова. Во всяком случае, сочиненная Булгаковым «Молитва Ивана Русакова» в романе «Белая гвардия» проникнута автобиографической страстностью.

*3 февраля.*

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня...

*11 февраля.*

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Не важно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал – фальшь. Но никто не прочт.

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.  
Плакал ночью, вспомнив это.

*12 ночью.*

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью.

*1918 года 13 февраля на рассвете в Гореловке.*

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров.

По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне, и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Тетрадъ Бомгарду. Все...»

## V

На рассвете 14-го февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли? По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, жалость и страх, вызванные записями, конечно, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно

истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 г. от сыпного тифа и на том же участке, где работала. Амнерис – первая жена Полякова – за границей. И не вернется.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

1927 г. Осень.

## В НОЧЬ НА 3-Е ЧИСЛО

*Из романа «Алый мак»*

Пан куренной<sup>18</sup> в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диговинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим – паном куренным.

– В Бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, Бога, душу, твою мать!!

Пан куренной взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и двинул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело – трах-тах-ах-тах-дах, – взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста.

---

<sup>18</sup> Пан куренной – командир куреня, пехотного батальона в войсках Петлюры.

Сечевики<sup>19</sup> шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты надели на них черной стеной, гнилой паркет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Там – снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб – он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и наконец – твердая обледеневшая покатость.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом – бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

– Я дурак. Я жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

---

<sup>19</sup> *Сечевики* – Сечевые стрельцы – воинские формирования из Западной Украины (Галиции), названные так в подражание Запорожской Сечи. Находились под прямым влиянием австрийцев. И не случайно сечевики были опорой во время восстания Петлюры против гетмана П. П. Скоропадского.

– Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал заочечневшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

– Господи. Если Ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

– Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вот оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренной и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Мащенко. Оба они падают на колени.

– Змилуйтесь, добродию! – вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

– Нет, товарищи! Нет. Я монарх... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

– А-а... так... – зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

– Да, т-товарищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом<sup>20</sup>. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренной, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

– Скидай, скидай, зануда, – говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах<sup>21</sup>, раскрыв рты, смотрели на сечевику. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку.

«Убьет... убьет... – гудело в голове, – ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, мед-

---

<sup>20</sup> *Черные халаты стали полукругом.* – Имеется в виду темно-синяя экипировка солдат из «синей» галицийской дивизии.

<sup>21</sup> *Хлопцы в тазах на головах...* – Немецкая и австрийская армии помогали петлюровцам в снабжении и обмундировании, в том числе и стальными касками.

ленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

– До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он – город – тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О, мир! О, благостный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

– Жида порют, – негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

– Что ж это такое?! – Чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя – и он с легким и радостным сердцем пустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь.

Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

– За что вы его бьете?

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров – сечевиков и гайдамаков<sup>22</sup> – посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренной, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

– Сыняя дывызя! Покажи себе! – как колотушка, стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

– Кро-ком рушь!

Черный батальон Синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно слышался голос:

– Хай живе батько Петлюра!!

О, звездные родные украинские ночи. О, мир и благодостный покой!.

.....

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора, и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова, был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна

---

<sup>22</sup> ...и гайдамаков... – Гайдамаками называли в XVIIIв. участников народно-освободительного движения на Украине в борьбе против польских захватчиков. В данном случае имеются в виду солдаты-петлюровцы.

– жена доктора – металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович<sup>23</sup> ходили за нею по пятам.

– Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

– Ей-Богу, ничего не случится, – утверждал Юрий Леонидович, и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

– Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

– Ну, что ты, ей-Богу. Придет он...

– Варвара Афанасьевна!!

– Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

– Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

– Ничего подобного, – залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня<sup>24</sup>», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович – вправо, и тот вправо, влево и влево. Наконец разминулись.

---

<sup>23</sup> Колька Бакалейников и Юрий Леонидович... – Очевидно, имеются в виду брат Булгакова Николай («Николка») и друг Булгакова – Юрий Леонидович Гладыревский.

<sup>24</sup> «Голярня» – парикмахерская (укр.).

– Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину; улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

– Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свитр с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из «Голярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

– Уберите это! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папуас!

– Команч, Вождь – Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

– Ну, хорошо, я перечешусь.

– Я думаю – перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный<sup>25</sup>... Го-о-род счастливый!

Моря царица, Веденец славный!..

Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца,  
полные тревоги.

О, го-о-о-о-род ди-и-вный!!

Звнящая лава залила до краев комнату, загремела  
бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол.  
И только когда приглаженный команч, приглушив звук,  
царствуя над коренными аккордами, вывел изумительным  
меццо:

Месяц сия-а-а-е-т с неба ночного!... —

и Колька и Варвара Афанасьевна расслышали дья-  
вольски-грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело «до»,  
оборвался и голос, и Колька вскочил как ужаленный.

— Голову даю наотрез, что это Василиса! Он, он, про-  
клятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь...

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька  
заметался, втискивая в карман револьвер.

---

<sup>25</sup> *Город прекрасный*... — ария Веденевского гостя из оперы Н. А. Римско-  
го-Корсакова «Садко» (1896).

– Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

– Да не бойся ты, Господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разлился, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

– Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной: дон... дон... дон...

Колька угадал. Василиса, домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, чрезвычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию – Василий Иванович Лисович – утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать:

Вас. Лис. и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью.

Нечего и говорить, что, лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе – Авдотьей Семеновной, женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число, от 8 до 10» – Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, Оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

– Вы посматривайте, Васил...ис... Иванович, – уныло-озабоченно бросил Колька на прощание, – в случае чего... того... на мушку. – И он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопылив ноги, зачоченел с палкой в руках.

Месяц сиял...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно загля-

нули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьин кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

– Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

– Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

– О, что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10–12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

– Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

– Да что ты?

– Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

– Ты не врешь?

– Чудачка! Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

– Неужели Михаил вернется?

– Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Сло-

бодки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

– А если они не пустят?

– Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

– Ясно, – подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

– Соль... до!..

Проклятьем заклеямен... –

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура»:

– У-а-а-а!..

– Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

– У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто, с лицом синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжело и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каж-

дому удару отвечало сиплое:

– Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

– А-а, жидовская морда! – иступленно кричал пан куренной. – К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову.

Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная

даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длительно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удержать. Бежала и Синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренной, исчез полковник Мащенко. Остались позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в

момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше – сеть переулков кривых и черных. Прощайте!

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуты ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развевал по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку Синей дывызии». На случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

Около трех ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок.

– Ну я ж говорил! – заорал Колька. – Перестань реветь! Перестань...

– Варвара Афанасьевна! Это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

– Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

– Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернул щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька, открыв рты, глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вгля-

дывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

– Да, – наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Колька, услышав это первое слово, решился спросить:

– Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал.

– Вы знаете, – медленно ответил Бакалейников, – они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

– Да, каналья этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

– Бандиты... Но я... я... интеллигентская мразь! – и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улица, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с желтыми потревоженными ог-

нями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгнула черная лента, пересекая город, в мраке на другой стороне. Небо висело – бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь – путь серебряный, млечный.

## **НАЛЁТ (В ВОЛШЕБНОМ ФОНАРЕ)**

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз, Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и этот жар уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это означает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

– Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, – сказал сверху голос, и Абрам понял, что это – голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене – зимний день, дом, чай и

тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груду щиты. Совсем близко показался темный бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

– Якого полку? – сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь – неба там не было никакого.

– Ну, ты мне заговоришь! – сказала тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.

– А... а-га-а, – судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика и еще совершенно явственно означился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

– Якого?! – визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:

– Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

– Тю! Жида взяли! – резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.

– Жид, жид! – радостно пробурчал ураган за спиной.

– И другой? – жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвы щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо в порохе метели:

– У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

Оба – Абрам и Стрельцов – стояли рядом у высоченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешиваясь, люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папаше, то бренчащий, зажеванный, в беловой пенке мундштук.

Светились два огня – белый на станции, холодный и

высокий, и низенький, похороненный в снегу на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже, и не гудело, и не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской, — его били долго и тяжело за дерзость, размолотив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом, зрячим, и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют, — всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и была рукояткою Стрельцова.

Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорийше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же скорей! — сипло вскрикивал Стрельцов, — нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубаше и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

– Жид смеется! – удивилась тьма за конусом.

– Он мне посмеется, – ответил бас.

У Абрама сами собой нещекотно и небожно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, – думал он, – как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится. Нечего ждать – конец».

– А ну, – предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать – ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле лежал жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции ослабел, а желтоватый, низенький, был неизменен. Его первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяс-

нимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

— Кто же это? Господи, кто? — Женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери. — Одна я, ей-Богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен, — настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь.

— Ранен я, слышите, — повторил он.

— Ой, лишечко, — ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей, и в самой высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупно, с шипением.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом наоборот, холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, вперебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха, и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно,

они были сырые, но и сырые дрова загораются – загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

– Теперь Абрам, – сказала Броня, – сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. Ваша очередь, Абрам. – Она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны: коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие сверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамова чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому на лице всегда сохранял вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

– Ваша очередь, Абрам, – распорядилась Броня громко, как все говорили с ним, – вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо, все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ругался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь нарисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

– Вот так...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

– Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине... А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил серьезно:

– Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

– Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели, не отрываясь, на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

## Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

– Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-е число.

– Пожалуйста, пожалуйста, – ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешёвенькая страничка с цифрой «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» – подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался

очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника»<sup>26</sup>.

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим – молчаливый и несомненно скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем...»

---

<sup>26</sup> ...несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника». — Оперы Р. Вагнера (1813–1883) и Дж. Россини (1792–1868) соответственно.

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а шурился на цифру «2», на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли». Я покосился через плечо и увидел, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

– Все это вздор, товарищи, – заговорил я, продолжая беседу, – обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, на сто первый у него больной и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

– Обязательно скажут, что зарезал, – отозвался доктор Гинс.

– И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять, – уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике.

– Терпеть не могу, – продолжал я, – фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного, убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство несвойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманном намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке – это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

– Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себе в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта. Мы посмотрели на него с удивлением.

– То есть как? – спросил я.

– Я убил, – пояснил Яшвин.

– Когда? – нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

– Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... – Яшвин вынул черные часы, поглядел, – ...да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

– Пациента? – спросил Гинс.

– Пациента, да.

– Но не умышленно? – спросил я.

– Нет, умышленно, – отозвался Яшвин.

– Ну, догадываюсь, – сквозь зубы заметил скептик Плонский, – рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

– Нет, морфий тут ровно ни при чем, – ответил Яшвин, – да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд... и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съелся в кресле и продолжал:

– Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу, над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

– Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушаюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжело так тянет – бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. Пойдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска<sup>27</sup>, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

– Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, гро-

---

<sup>27</sup> ...я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска... – Разумеется, речь идет об Андреевском спуске.

мадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал – с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, – уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, и в них люди с красными галунными шлыками на папах, пушки вдаль не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

– Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдаль ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы,

где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«Содержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батяня Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю-фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики – миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой Красного Креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

– Вы ликарь Яшвин? – спросил первый кавалерист.

– Да, я, – ответил я глухо.

– С нами поедете, – сказал первый.

– Что это значит? – спросил я, несколько оправившись.

– Саботаж, вот що, – ответил гроыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, – ликаря не хотят мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

– Куда же вы меня ведете? – спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

– В первый конный полк, – ответил тот, со шпорами.

– Зачем?

– Як зачем? – удивился второй. – Назначаетесь к нам ликарем.

– Кто командует полком?

– Полковник Лещенко, – с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын, – подумал я, – мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше...»

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество.

Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал

нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел ключьями.

«А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

— Пан полковник, — негромко сказал тот, со шпорами, — ликаря доставили.

— Жид? — вдруг выкликнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским поясом с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

— Нет, не жид, — ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

— Вы не жид, — заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке — смеси русских и украинских слов, — но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! — приказал он кавалеристу. — И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

– Змилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

– Дезертир? – пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой. – Их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя

судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека...

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, иода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. «Бежать», – я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплившей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

– За что вы их? – спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

– Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жидаы. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

– Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

– Сволочь, – процедил полковник, потом обратился ко мне: – Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди, – приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия», – подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

– Отчего это?

– Перочинным ножом, – ответил полковник хмуро.

– Кто?

– Не ваше дело, – отозвался он с холодным злобным презрением и добавил: – Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

– Снимите марлю, – сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышались топот, возня, грубый голос закричал:

– Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее иступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

– Уйди, хлопец, уйди, – приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

– За что мужа расстреляли?

– За що треба, за то и расстреляли, – отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

– А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест, и покачала головой.

– Ай, ай, – продолжала она, и глаза ее пылали, – ай, ай. Какой вы подлец... Вы в университете обучались и с этой

рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он чело- века по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тош- ноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

– Вы мне говорите? – спросил я и почувствовал, что дрожу. – Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

– Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

– Дайте ей 25 шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опу- стился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.

– Женщину? – спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

– Эге-ге... – сказал он и глянул зловеще на меня. – Те- перь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря...

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бе- жала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и жи- воте, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. «Вот

и моя смерть...» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, — я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

— Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

— Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза,

потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

– Идите, доктор, домой.

И я пошел.

После молчания я спросил у Яшвина:

– Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:

– О, будьте покойны. Я *убил*. Поверьте моему хирургическому опыту.

## НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой – он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей – он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержащий в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей»<sup>28</sup>, шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)

---

<sup>28</sup> ...роман «Марья Лусьева за границей»... – Имеется в виду популярный в свое время роман известного писателя А. В. Амфитеатрова (1862–1938) «Марья Лусьева за границей» (СПб., 1912), рассказывающий о жизни проститутки.

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно – некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.

## I. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ – ПРОСТО ВОПЛЬ

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад<sup>29</sup>? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня – это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет<sup>30</sup>, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени

.....

К черту внуков. Моя специальность – бактериология<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Почему я не родился сто лет тому назад? – Это одна из постоянных тем Булгакова после двух революций в России. Почти дословно об этом же писал Булгаков Н. А. Земской 31 декабря 1917 г.: «Я с умилением читаю старых авторов... и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад?»

<sup>30</sup> ...и детей у меня не будет... – Когда у Т. Н. Лаппа спросили, почему у них с Булгаковым не было детей, она ответила исчерпывающе коротко: «Потому что жизнь такая».

<sup>31</sup> Моя специальность – бактериология. – В письме Н. А. Земской (3.10.1917) есть такая просьба Булгакова: «Купи, пожалуйста, книгу Клопштока и Коварского

Моя любовь – зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера<sup>32</sup>, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть<sup>33</sup>.

.....

## II. ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

*Вечер... декабрь.*

Пятую власть выкинули<sup>34</sup>, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это – «ихние». На западной пулеметы – «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще – вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...»

---

„Практическое руководство по клинической химии, микроскопии и бактериологии“... и вышли мне». Напомним, что брат писателя Н. А. Булгаков («Николка Турбин») стал выдающимся бактериологом, работая в Институте Пастера в Париже.

<sup>32</sup> Я с детства ненавидел Фенимора Купера. – Ср. с записью в дневнике писателя от 26 октября 1923 г.: «Сейчас я просмотрел „Последнего из могикиан“, которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере!» Ф. Купер был одним из любимейших писателей Булгакова.

<sup>33</sup> Меня мобилизовала пятая по счету власть. – Речь идет о власти гетмана П. П. Скоропадского, просуществовавшая с 29 апреля по 14 декабря 1918 г.

<sup>34</sup> Пятую власть выкинули... – Свержение «Украинской державы» гетмана Скоропадского осуществили войска армии Симона Петлюры, образовав националистическую Директорию.

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу – какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

– Держи его! Держи!

Я оглянулся – кого это?

Оказывается – меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать, – просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

– Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 gr.). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой... ..

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это – уж не знаю. Безумно йода жаль.

Происходит что-то неопишное... Новую власть тоже выгнали<sup>36</sup>. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу. Слава Богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я – доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

---

<sup>35</sup> *Ночь со 2-го на 3-е.* – Событие это настолько врезалось в память писателя, что он многократно возвращался к нему в своих сочинениях. См., например, рассказ «В ночь на 3-е число».

<sup>36</sup> *Новую власть тоже выгнали.* – На смену петлюровщине пришли войска большевиков. В Киев они вступили 5 февраля 1919 г.

#### IV. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА

*15 февраля.*

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

*17 февраля.*

Спал сегодня ночью – граммофон внизу сломался.

Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

*21 февр.*

Меня уплотнили...

*22 февр.*

...И мобилизовали<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> ...И мобилизовали. – Мобилизовать Булгакова могли в это время только красные. По сути, это почти единственный намек на то, что ему пришлось служить и в красных частях. Правда, 19 октября 1936 г., поступая на службу в Большой театр и заполняя анкету, писатель в графе «Участие в белой и других контрреволюционных армиях» записал: «В 1919 году, проживая в г. Киеве, последовательно призывался на

...марта.

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен<sup>38</sup>». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли под утро...

## V

.....

## VI. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА И САПОГИ

.....

## VII

Кончено. Меня увозят<sup>39</sup>.

.....

...Из пушек

...и .....

## VIII. ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ

*Сентябрь.*

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный

---

службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город». Но о самой службе в красных частях Булгаков нигде не обронил ни слова. И до сих пор этот отрезок времени остается тайной.

<sup>38</sup> «Вы просите песен». – Популярный романс на музыку и слова Саши Макарова.

<sup>39</sup> Кончено. Меня увозят. – Деникинская армия вступила в Киев 31 августа 1919 г. Население города приветствовало освободителей (правда, через некоторое время отношение к деникинцам стало меняться в худшую сторону – прежде всего из-за мародерства). Братья Булгаковы добровольно записались в Белую армию. Михаил Булгаков, как военврач, был отправлен на Кавказ. Но детали этого события по-прежнему остаются непроясненными.

наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезях гор  
грозовые тучи. И бурно плещет по камням

...мутный вал.

Злой чечен ползет на берег,

Точит свой кинжал<sup>40</sup>.

Узун-Хаджи<sup>41</sup> в Чечен-ауле<sup>42</sup>. Аул растянулся на  
плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Хан-  
кальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Киз-  
лярогребенские казаки стали на левом фланге, гусары на  
правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи. Бьют  
шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «бе-  
лыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется  
разбухший труп лошади, на двуколке треплется красно-  
крестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных ка-  
заков, и они умирают у меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я  
жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две

---

<sup>40</sup> ...мутный вал... свой кинжал. – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Казачья  
колыбельная песня» (1838):

По камням струится Терек,

Плещет мутный вал...

<sup>41</sup> Узун-Хаджи... – Узун Хайр Хаджи Хан (?–1920), имам и эмир так называемого  
Северо-Кавказского эмиратства, созданного при поддержке Турции на территории Чечни  
со столицей в ауле Ведено. В сложившейся после революции сложной ситуации  
Узун-Хаджи помогал большевикам, полагая сохранить свое эмиратство хотя бы отно-  
сительно независимым. Боролся против Деникинской армии, поскольку смысл ее дей-  
ствий был для него абсолютно ясен: единая и неделимая Россия. Победа деникинцев  
была смертельно опасной для сепаратистов.

<sup>42</sup> ...в Чечен-ауле. – Чечен-аульский бой (15–16 октября 1919 г.) один из самых ярких  
и кровопролитных, в которых участвовал Булгаков в качестве военного врача в составе  
3-го Терского полка. Позже ученые-историки, восстанавливавшие этот бой на основе  
источников, поражались точности, с которой описал сражение Михаил Булгаков.

сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптаннами, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.

Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

*Ночь.*

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах – неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

– Поручиться нельзя, – философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непорочности и каверзости этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, – заскочить с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу»! Господи Боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя»! Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле<sup>43</sup>...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности? При чем здесь я!!

Заваливаюсь на брезент, съезживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцева-тых листах, стены кабинета... Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тиха. Пофыркивают ло-

---

<sup>43</sup> Узун-Хаджи в роковом ауле... – Конечно, Булгаков не мог знать, что Узун-Хаджи предал своих союзников – местных чеченцев и красных партизан – и ушел со своим отрядом из аула.

шади, рядами лежат черные бурки – спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь – свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница...

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог<sup>44</sup>. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира<sup>45</sup>». Слянка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

## IX. ДЫМ И ПУХ

*Утро.*

Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.

Взяли Чечен-аул...

И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свивают в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон<sup>46</sup>».

---

<sup>44</sup> *Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог.* – «Противность» Лермонтова, конечно, определяется в данном случае той кошмарной ситуацией, в которую попал Булгаков в «лермонтовских» местах.

<sup>45</sup> *«Тебя я, вольный сын эфира».* – Из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

<sup>46</sup> *...к декорации оперы «Демон».* – Опера «Демон» написана композитором А. Г.

Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.

У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир<sup>47</sup>. Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон – объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.

А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками<sup>48</sup>.

Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом – не жги аулов.

Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.

Я всегда говорил, что фельдшер Голендрюк – умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Сiju на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.

---

Рубинштейном (1829–1894) в 1871 г.

<sup>47</sup> ...лукулловский пир. – Крылатое выражение, перешагнувшее тысячелетия. Римский полководец Луций Лициний Лукулл (ок. 117 – ок. 56 до н.э.) прославился богатыми и изысканными пирами.

<sup>48</sup> ...уходит... Узун со всадниками. – Отходил после боя не Узун, покинувший Чечен-аул накануне, а отряд красных партизан.

## Х. ДОСТУКАЛСЯ И ДО ЧЕЧЕНЦЕВ

Жаркий, сентябрьский день<sup>49</sup>.

...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.

Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное – ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейса<sup>50</sup> – ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если бы не дымок от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.

Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180 градусов, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:

– Паршиво.

Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать не трудно. Для этого не нужно быть пророком...

.....

Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.

---

<sup>49</sup> *Жаркий, сентябрьский день.* – Небольшая авторская неточность. Если считать по старому стилю, то это было начало октября.

<sup>50</sup> *...стекла Цейса...* – Бинокль знаменитой фирмы Карла Фридриха Цейса (1816–1888), основанной в 1846 г.

Поехали наобум.

...Ворон взмыл кверху. Другой вниз. А вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа<sup>51</sup>:

– И веревочка пригодится<sup>52</sup>.

Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны вьются невысоко, покрикивают...

Дальше!..

...Цейс галлюцинирует! Холм, а на холме, на самой вершине, – венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?..

...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.

Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.

*Под вечер.*

Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре... Интересно, кому достанется моя записная книжка<sup>53</sup>? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета зеле-

---

<sup>51</sup> ...вроде гоголевского Осипа... – Персонаж гоголевской комедии «Ревизор», слуга Хлестакова.

<sup>52</sup> – И веревочка пригодится. – Слова Осипа из действия IV комедии «Ревизор».

<sup>53</sup> Интересно, кому достанется моя записная книжка? – Косвенное свидетельство того, что Булгаков вел в это время дневник в виде записной книжки. Видимо, это был превосходный материал для создания второго и третьего томов эпопеи «Белая гвардия».

новатого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.

Глупости. Кони у них – смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.

– Э-хе-хе, – только и произнес Шугаев.

Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свиданья, солнышко...

...И чудеса в решете!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают... галдят:

– Та-ла-га-га!

Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят – суну в рот. Так оно лучше. Так научили.

А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль.

– А-ля-ма-мя... Болгатоэ-э!

– Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.

Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:

– Шали, говоришь? Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоэ. А наши-то где? Там?

Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.

Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.  
– Мирные! Мирные, господин доктор. Замирили их. Говорят, что наши через Болгатоэ на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!

Глянул – внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейса видит.

У чечен лица любовные. Глаз с Цейса не сводят.

– Понравился бинок, – хихикнул Шугаев.

– Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорей колонну!

Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.

– Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они, наши! Вон они! Не ежели бы версты две подальше, – он только рукой махнул.

А кругом:

– Гыр... гыр!

Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конво-ем...

## ХІ. У КОСТРА

Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше...

.....

## XIII

*Декабрь.*

Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18 градусов. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали

---

<sup>54</sup> XII. – Булгаков не стал в рассказе описывать дальнейшие бои в Чечне (видимо, были для этого причины, о которых мы уже упоминали), но эпизод боя под Шали-аулом он записал в своем более позднем дневнике, в ночь на 24 декабря 1924 г. Вот эта в высшей степени знаменательная запись: «...в „Гудке“... держал речь обычную и заданную мне, – о том, каким должен быть „Гудок“. Я до сих пор не могу совладать с собой. Когда мне нужно говорить, и сдерживать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года, и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо Р. О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал... Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р. О., одновременно – вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же – картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.

Бессмертье – тихий светлый брег...

Наш путь – к нему стремленье.

Покойся, кто свой кончил бег,

Вы, странники терпенья...

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-аул, и последнюю фразу сказал мне так:

– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня уже контузили через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва – этот ночной ноябрьский бой, сквозь него – вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот бессмертно-проклятый зал в „Гудке“. „Блажен, кого постигнул бой“. Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию».

К этой записи мы будем еще возвращаться, так как она *многозначна* и в ней затронуты многие проблемы (например, ясно виден замысел будущего «Бега»), но сейчас подчеркнем лишь один момент: сколько еще таких эпизодов держал в памяти (и зафиксировал в записной книжке) писатель! Ясно, что самое важное и самое сокровенное ему приходилось скрывать и держать в себе.

ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало внизу. Покатились.

Не помню, как я заснул и как выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, не смотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд...

Шугаева жалко. Ногу переломил.

До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых...

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом...

Тень фельдшера Голендюка встала передо мной... Но куда, к черту! Я интеллигент.

#### XIV. ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ

*Февраль.*

Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.

И сюда накатилась волна.....

Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидел столько, что хватило бы Майн Рида на 10 томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно за-

грызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...

Довольно!

Все ближе море! Море! Море!

.....

Проклятие войнам отныне и вовеки!

## КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ

*6 картин вместо рассказа*

### I

#### РЕКА И ЧАСЫ

Это был замечательный ходя<sup>55</sup>, настоящий шафранный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года.

Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганные штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша.

Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер

---

<sup>55</sup> Ходя – кличка китайцев в России до революции.

летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей – ноздреватый гранит, за гранитом, на откосе, лодка с пробитым днищем, за лодкой – эта самая проклятая река, за рекой – опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города.

Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-прегрязное... и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо, жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погодя все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег, и вообще ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.

– О-о-о! – что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому не понятном языке.

Ходя зажмурил глаза, и тотчас же всплыло перед ним очень жаркое круглое солнце, очень желтая пыльная дорога, в стороне, как золотая стена, гаолян<sup>56</sup>, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы ходя, маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как

---

<sup>56</sup> Гаолян - растение рода сорго. Зерновая (крупа, мука, а также сено, силос и плетенные изделия) культура в Китае.

огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать, и он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода...

Ходю, как бритвой, резнуло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромные пространства. Ехать – как? Есть – что? Как-нибудь. Китай-са... Пусти ваг-о-о-н.

За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками, на серой длинной башне. Часы поиграли, поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тарахтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении.

## II

### ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Вечером ходя оказался далеко, далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине в двухэтажном домике во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнатке по вонючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова.

Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на короточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят. Лицо у него было как кора, и глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал – печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передергивал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец.

Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залезал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме ходи, не понятном языке.

Из слов старого китаезы выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было бы так: хлеб – нет. Никакой – нет. Сам – голодный. Торговать – нет и нет. Кокаин – мало есть. Опиум – нет. Последнее старый хитрый китай особенно подчеркнул. Нет опиума. Опиума – нет, нет. Горе, но опиума нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину.

– Что есть? – Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами.

– Есть? – Было, конечно, кое-что, но все такое, от чего лучше и отказаться. – Холодно – есть. Чека ловила – есть. Ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца, негодяй – Настькин сволочь.

Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипенье и клочкотание.

– Самогон – есть.

Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, косой свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что это след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого Китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски:

– Бандит – есть!

Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа.

Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнату, и ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаеза, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка скорбно и недоуменно лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему, старому, все равно. Ленин – есть. Самый главный очень есть. Буржуи – нет, о, нет! Зато Красная Армия есть. Много – есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами – сиди, сиди. За башней? За башней – Красная Армия.

– Домой ехать? Нет, о, нет! Пропуск – нет. Хороший китаец смирно сиди.

– Я – хороший! Где жить?

– Жить – нет, нет и нет. Красная Армия – везде жить.

– Карас-ни...– оторопев, прошептал ходя, глядя в огненные дыры.

Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя, в зыбких тенях и красноватом отблеске сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то.

Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в прикрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламеньком колыхалась на полу, а ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, похожем на золотой, наконечнике багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки, на рваном одеяле, лежал старый китайский хрыч, с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке.

Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов – желтый с чернью и белый. Где был старик – никому не известно. Ходя же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелку-маятник и гнал ее вправо –

тогда часы звенели налево, а когда гнал влево – колокола звенели направо. Прогредев в колокола, Ленин водил ходю на балкон – показывать Красную Армию. Жить – в хрустальном зале. Тепло – есть. Настька – есть. Настька, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громоносную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили наконец на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой – круглое жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.

### III

## СНОВ НЕТ – ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие четыре дня. Известно, что на пятый день постаревший лет на пять ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «цейх. № 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих

опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе:

– Карас-ни...

И зашагал в неизвестном направлении.

#### IV

### КИТАЙСКИЙ КАМРАД

И оказался ходя через два дня после этого в гигантском зале с полукруглыми сводами, на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках, как бы в бельэтаже, а в партере громоздились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный пробег от круглого солнца в столицу колокольных часов:

– Хлеб... пусти вагон... карасни... китай-са...– и еще три слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно: то давали хлеба, то, наоборот, порывались бить. В данном случае произошли

радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой № 2 с несколько заговорщическим оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот:

– Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!

Возле ходи бушевало, потом стихло, потом ходя сразу дали махорки, хлеба и мутного чаю в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока с остервенением съел три ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем ходя предстал пред неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машины, на ходю взглянул благосклонно, голове, просунувшейся в дверь, сказал:

– Товарищи, ничего любопытного. Обыкновенный китаец...

И немедленно после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, в руку взял перо и спросил:

– Имя? Отчество и фамилия?

Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался.

На лице у некоего человека появилась растерянность.

– К-хэм... ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски? А? Как звать? – он пальцем ткнул легонько по направлению ходи, – имя? Из Китая?

– Китай-са... – пропел ходя.

– Ну! ну! Китаец, это я понимаю. А вот звать как тебя, камрад? А?

Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с

чаем переваривались в желудке, давая ощущение приятной истомы.

– Ак-казия, – пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.

Потом он подумал, поглядел на ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:

– Военком приедет сейчас. Ужо тогда.

## V

### ВИРТУОЗ! ВИРТУОЗ!

Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что, как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но, действительно, было исключительно 100% попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами в даль, давил ручки гремевшего «максима» и резал рощу, как баба жнет хлеб.

– Действительно, черт знает что такое! В первый раз вижу, – говорил пушистоусый, после того как стих раскаленный «максим». И, обратившись к ходе, добавил со смеющимися глазами: – Виртуоз!

– Вирту-зи... – ответил ходя и стал похож на китайского ангела..

Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:

– Сукин сын какой-то! – И, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По: – Ему премиальные надо платить.

– Пре-ми-али... палати, палати, – ответил ходя, испуская желтоватое сияние.

Командир громыхнул как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до:

– А фи не хо? – и при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами: "Как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка гордость и виртуоз..."

## VI

### БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, жаркое солнце сидело над самой головой. Синие

перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатывался мелко и сухо. Ходя, заваленный грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносим пулеметом. Хоудино лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди выглядывали из-за кустиков шагах в сорока. Покосившись на пулеметчика, ходя вновь глядел, прищурившись, на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клочущие события.

Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки и, то принижаясь до самой земли, то вырастая, ширясь и густея, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево ходи загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за ходей над холмом:

– А-гонь!

И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подыматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, стал... прогремел опять и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплели цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади:

– Ходя! Строчи! Огонь! А-гонь!

Сквозь марево и пыль ходя непрерывным ливнем посыпал пули во вторую цепь. И тут справа, вдаль, из земли выросли темные полосы и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос, осипши, срываясь, прокричал:

– По наступающей ка-ва-лерии...

Гул закачал землю до самого хода, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент, как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадил бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки, и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходе. Вытянувшись во весь рост, он

протянул правую руку и сухо выстрелил в набежавших. Затем, на глазах пораженного ходи, сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновение. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

— Бро-сай пулемет... чертова китаеза!! — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах, — сдавайся...

— Сдавайся!! — выло и справа, и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. А-р-ра-па-ха! — в последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновения чудесным образом перед ним, под жарким солнцем, успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарные венчики и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу:

— Премииали... карасни виртузи... палати! Палати!

И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжело размахнувшись штыком, в горло, так, что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

## НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

– Сидоров!

А я ему:

– Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

– Ты, – говорит, – что?

– Я, – говорю, – ничего...

– Ты, – говорит, – неграмотный?

Я ему, конечно:

– Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

– Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»<sup>57</sup>!

– Помилуйте, – говорю, – за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

– Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

– А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк уволниться вместо театра?

---

<sup>57</sup> ...отправлю на «Травиату»! – опера Дж. Верди (1813-1901), написанная им в 1853 г.

А он прищурил глаз и спрашивает:

– В цирк?.. Это зачем же такое?

– Да, – говорю, – уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

– Я тебе, – говорит, – покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего – взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, – столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

– Позвольте, – говорит, – товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

– Станный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

– А, – говорит контролер, – в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

– На каком основании, – кричит барышня, – как же так?

– А так, – говорит, – очень просто, потому пускаем только неграмотных.

– Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

– Ну, если вы, – говорит, – хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали – доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, борода с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

– Это кто же такой будет?

А он отвечает:

– Это дери, – говорит, – жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

– Что ж, – спрашиваю, – почему ж это его напоказ сажают за загородку?

– А потому, – отвечает, – что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

– Так почему ж его задом к нам посадили?

– А, – говорит, – так ему удобнее оркестром хоро-  
дить!...

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает – и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше – больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабанах. Гром пошел по всему театру. А потом как рывкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

– Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард<sup>58</sup>, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

– Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

– Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

– Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене – дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусывает.

---

<sup>58</sup> ...Ломбард... – Б. А. Ломбард (1878-1960), известный тромбонист (см.: Яновская Л. «Куда я, туда и он со своим тромбоном» // Юность. 1975. №8. С. 106).

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возмись, во втором действии он и шасть на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой – беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

– Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здорovenнейший – этой Травииате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

– Ты, – говорит, – и такая и эдакая, и вообще, – говорит, – не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат – пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травииате и запел:

– Будьте, – говорит, – покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего – надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

– Извините, – говорит Травиата, – не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скудная история!

И говорю Пантелееву:

– Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крикает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военному и говорю:

– Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

– Все еще, – говорит, – у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, – говорит, – товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет<sup>59</sup>!

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

– Это что ж, – спрашиваю, – опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

---

<sup>59</sup> ...Вторую рапсодию играть будет! – Скорее всего, Булгаков имеет в виду Вторую венгерскую рапсодию Ф. Листа, которую писатель любил и часто исполнял на фортепьяно.

– Обязательно, – говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

– Ну, а завтра можно?

– И завтра, – говорит, – нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

– Ну, а послезавтра?

– А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шлаться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

– Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

– Зачем, – говорит, – всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военному и говорю:

– Позвольте заявить!

– Заявляй!

– Дозвольте мне, – говорю, – в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

– Молодец! – и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки!

И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

# ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Плавающим, путешествующим  
и страждущим писателям русским*

### I

Сотрудник покойного «Русского слова»<sup>60</sup>, в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными

---

<sup>60</sup> *Сотрудник покойного «Русского слова»...* – Исследователи предполагают, что Булгаков в данном случае имел в виду Н. Н. Покровского (дипломата и журналиста, сотрудничавшего в «Русском слове»), редактировавшего в то время владикавказские газеты «Кавказ» и «Кавказская жизнь» (Булгаков входил в состав сотрудников этих газет), но активнейшим (даже ведущим) сотрудником «Русского слова» был и А. В. Амфитеатров, также участвовавший в издании владикавказских газет (попутно заметим, что А. В. Амфитеатров, находясь в эмиграции, выступал с самыми жесткими статьями в адрес «вождей пролетариата»; в самый острый момент схватки между Сталиным и Троцким Амфитеатров так характеризовал их борьбу: «Ибо для нас, опытных, дело сводится к тому, что, как говорит Иван Федорович Карамазов: – *Гад жрет другую гадину*» (Возрождение. 1927. 10 декабря). Представляет интерес вообще весь состав сотрудников владикавказских газет. Для этого мы приведем выдержку из газеты «Кавказ» (1920. №2. 16 февраля): «Газета выходит при ближайшем участии Григория Петрова, Юрия Слезкина, Евгения Венского, Н. Покровского. Сотрудники газеты: А. В. Амфитеатров, Евгений Венский, Евграф Дольский, Александр Дроздов, Григорий Петров, Н. Покровский, Юрий Слезкин, Дмитрий Цензор, Михаил Булгаков... и др. Редактор Н. Покровский».

Любопытен оптимизм редактора и сотрудников этой газеты. В статье «Счастливое начало» утверждалось: «Газета „Кавказ“ выходит под счастливым предзнаменованием. На долго затученном горизонте фронта проглянули первые лучи яркого солнца победы. Взятые обратно от красных Ростов с Нахичеванью...»

Что же произошло на самом деле – известно.

Булгаков иронизирует над известной в прошлом умеренной либеральной газетой «Русское слово», выходявшей в свет в 1895–1918 гг. С 1897 г. ее владельцем стал И. Д. Сытин. После первого ее закрытия большевиками газета в январе–июне 1918 г. выходила под названиями «Новое слово» и «Наше слово», а затем была прихлопнута окончательно. Газета, несомненно, сыграла свою роль в свержении самодержавия (кстати, А. В. Амфитеатров и на этом поприще потрудились «славно»).

профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой:

– Фью-ю!

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

*До Тифлиса сорок миль...  
Кто продаст автомобиль?*

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль<sup>61</sup>:

– Тэк-с. Тэк-с!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano<sup>62</sup>. Что? Шесть... И в сущности, я – итальянский офицер! Да-с! Finita la comedia<sup>63</sup>!

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь – с телеграммой и фельетоном.

– Стойте! – завопил я, опомнившись. – Стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа<sup>64</sup>?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой,

---

<sup>61</sup> ...как диккенсовский Джингль... – Джингль – персонаж романа Ч. Дикенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837), предпочитавший в общении «телеграфный стиль». Позже Булгаков прекрасно сыграл роль судьи в инсценировке «Пиквикского клуба» на сцене Художественного театра.

<sup>62</sup> Credito Italiano – крупный банк «Итальянский кредит».

<sup>63</sup> Комедия окончена! (ит.).

<sup>64</sup> Что? Катастрофа?! – Так в одном возгласе Булгаков раскрывает крах белого движения на Кавказе.

вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах да! Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман<sup>65</sup>! Лишь бы не заболеть!.. Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана! Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

– Мишуня, поставьте термометр!

– Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго<sup>66</sup>? Да нет. Не может

---

<sup>65</sup> *Проклятый февральский туман!* – О «февральском тумане» 1920 г. Булгаков так писал в «Необыкновенных приключениях доктора» (глава «Великий провал»): «Халос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то. И сюда накатилась волна... Я сыт по горло и совершенно загрызлен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...»

<sup>66</sup> *...да уж не тиф ли, чего доброго?* – Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «Михаил работал в военном госпитале. Вскоре его отправили в Грозный... Потом его часть перебросили в Беслан. В это время он начал писать небольшие рассказы и очерки в газеты. А зимой 1920 г. он приехал из Пятигорска и сразу слег. Я обнаружила у него в рубашке насекомое. Все стало ясно – тиф. Я бегала по городу – нашла врача, который взялся лечить коллегу. Но вскоре белые стали уходить из города...»

быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно<sup>67</sup>... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

– Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

– Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

– Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

– С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего – еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит<sup>68</sup> занесен снегом. Огонек мерцает, и

---

<sup>67</sup> ...только не сейчас! Это было бы ужасно... – Конечно, при нормальных обстоятельствах Булгаков ушел бы вместе со своей частью из Владикавказа. Т. Н. Лаппа не раз рассказывала, что он ругал ее за то, что она не отправила его, больного, со своими. Но это было бы губительно для Булгакова. Т. Н. Лаппа продолжает: «Несколько раз к нам врывались вооруженные люди, требуя доктора и предлагая для больного транспорт. Но я не позволила увезти тяжелобольного Михаила, хотя рисковала и своей и его жизнью».

<sup>68</sup> Леса и горы... Мельников-Печерский. Скит... – П. И. Мельников-Печерский (1818–1883) в своих романах «В лесах» и «На горах» красочно описал жизнь старообрядцев в дальних скитах.

баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полоч. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово – по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

*Взбранной Воеводе победительная*<sup>69</sup>!..

Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские<sup>70</sup>?..

– Ла-риса Леонтьевна<sup>71</sup>, где мо-наш-ки?!

– ...Бредит... бредит, бедный!..

– Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон с третьей полки. Мельников-Печерский...

– Мишуня, нельзя читать!..

– Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят<sup>72</sup>! Бросят!

---

<sup>69</sup> *Взбранной Воеводе победительная!*.. – Булгаков превосходно знал Евангелие и богослужебные тексты, используя их в своих произведениях. В данном случае писатель приводит начальные слова первого кондака Акафиста Пресвятой Богородице: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльняся от злых, благодарственная восписуем Ти рабы Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».

<sup>70</sup> ...монашки... васнецовские?.. – Великий русский живописец В. М. Васнецов (1848–1926) особо был дорог киевлянам как художник, возглавлявший росписи величественного Князь-Владимирского собора в Киеве. Им же были прекрасно иллюстрированы и названные книги П. И. Мельникова-Печерского.

<sup>71</sup> *Лариса Леонтьевна*... – Лариса Гаврилова, хозяйка дома, где снимали комнату Булгаковы, помогала Т. Н. Лаппа в уходе за больным.

<sup>72</sup> *Меня бросят! Бросят!* – Булгаков не мог, конечно, напрямую описать весь

– Ну хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

*Сашки, канашки мои!..*

– Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него<sup>73</sup>... Пой-мите!

– Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий красноватый, туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там, напьешься – и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза, открыть – вовсе не хвоя, а простыня.

– Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!

---

трагизм своего положения и обозначает его отдельными фразами и возгласами. Между тем жизнь его висела на волоске, поскольку в городе его многие знали как белого офицера и корреспондента белогвардейских газет.

<sup>73</sup> *Поймите, еще вчера я должен был быть у него...* – Булгаков постоянно говорит о какой-то важной встрече... Об этом же упоминала и Т. Н. Лаппа, но суть не раскрыла.

- Сейчас, сейчас!...
- А-ах, теплая, дрянная!
- ...ужасно. Опять сорок и пять!
- ...пузырь со льдом...
- Доктор! Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать, мне мой бра... браунинг! Ларочка-а! Достаньте!...
- Хорошо, Хорошо, Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут, череп. Го-ло-ва!...

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все – все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна<sup>74</sup> .....

## II. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?!

Беллетрист Юрий Слезкин<sup>75</sup> сидел в шикарном, кресле.

---

<sup>74</sup> Тьма и сорок один и одна... – Через год Булгаков писал своему двоюродному брату Константину: «Мы расстались с тобой приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня... Чуть не издох, потом летом опять хворал». Т. Н. Лаппа: «Пришли красные войска. Михаил тяжело перенес болезнь и очень медленно поправлялся. В первое время... он не мог даже самостоятельно передвигаться. И, вооружившись палочкой, под руку со мной, преодолевал небольшие расстояния».

<sup>75</sup> Беллетрист Юрий Слезкин... – Слезкин Юрий Львович (1885–1947), известный писатель, прогремевший еще до революции своим романом «Ольга Ор». В его дневнике, хранящемся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки и пока не

Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молюю обгрызенный, и под мышкой – дыра. На ногах – серые обмотки. Одна – длинная, другая – короткая. Во рту – двухкопеечная трубка. В глазах – страх с тоской в чехарду играют.

– Что же те-перь бу-дет с на-ми? – спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

– Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

– Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

– Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

---

опубликованном, за исключением отрывков, есть такие примечательные слова: «С Мисей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, – испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе... позвали другого.

По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тотчас же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Все это описано у Булгакова в его „Записках на манжетах"» (НИОР РГБ, ф. 801, к. 1, ед. хр. 2, л. 29-30).

Так ли это было (в деталях!), сказать трудно, ибо неизвестна на это реакция Булгакова, который не был знаком с дневником-воспоминаниями своего бывшего друга.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

– Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!

– Ка-кая разница?

– Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины – грабят и убивают...

– Всех будут убивать? – деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

– Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

– Я не вол-нуюсь...

– Пустяки, – сухо отрезал Слезкин, – пустяки!

– Что? Пустяки?

– Да это... Осетины там и другое. Вздор, – он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

*Мама! Мама! Что мы будем делать<sup>76</sup>?!*

– В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

– Подотдел искусств откроем<sup>77</sup>!

---

<sup>76</sup> *Мама! Мама! Что мы будем делать?!* – Булгаков приводит слова популярной в те годы песенки, которая исполнялась и в киевском театре-кабаре «Кривой Джимми»:

– Мама! Мама! Что мы будем делать,  
Когда настанут зимни холода?

– У тебя нет теплого платочка, дочка.  
У меня нет зимнего пальта.

- Это... что такое?
- Что?
- Да вот... подудел?
- Ах нет. Под-от-дел!
- Под?
- Угу!
- Почему под?
- А это... Видишь ли, – он шевельнулся, – есть от-наробраз<sup>78</sup> или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!
- Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.  
Взметнулась хозяйка.
- Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...
- Вздор! – строго сказал Юра. – Вздор! И все эти мин-грельцы, имери<sup>79</sup>... Как их? Черкесы. Просто дураки!
- Ка-кие?
- Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...
- А что с нами? Бу-дет?
- Пустяки. Мы откроем...
- Искусств?
- Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.
- Не по-ни-маю.
- Мишенька, не разговаривайте! Доктор...
- Потом объясню! Все будет! Я уж заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы – искусство!

---

<sup>77</sup> *Подотдел искусств откроем!* – В дневнике Ю. Л. Слезкина: «Белые ушли – организовался ревком, мне поручили заведование подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией».

<sup>78</sup> ...отнаробраз... – отдел народного образования.

<sup>79</sup> *И все эти мингрельцы, имери...* – Мингрелы, имеретинцы, кахетинцы, картлийцы, сваны, хевсуры – грузинские народности.

- А жить?
- Деньги за ковер будем бросать!
- За какой ковер?..
- Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.
- А я?
- Ты завлито будешь. Да.
- Какой?
- Мишуня! Я вас прошу!..

### III. ЛАМПАДКА

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

*Мама! Мама!! Что мы будем делать?!*

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито – литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

– О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

– Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная

ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

– Ма-а-ма. Ма-а-ма!

#### IV. ВОТ ОН – ПОДОТДЕЛ

Солнце. За колесами пролетов – пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами – то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый, сидит в самом центре писатель<sup>80</sup> и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного – мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

– Завподиск<sup>81</sup>. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются.

---

<sup>80</sup> *С креста снятый, сидит в самом центре писатель...* – Эта фраза в какой-то степени проясняет ситуацию с Ликоспасовым-Ликоспастовым – одним из героев «Записок покойника», прототипом которого стал благообразный Юрий Слезкин.

Любопытно, что в то время, когда Ю. Слезкин создавал во Владивавказе из «хаоса» подотдел искусств, в газете «Великая Россия» (14 июля 1920 г.) появилось следующее неприятное для него сообщение: «Газеты принесли печальное известие: во Владикавказе расстрелян за службу в осведомительном отделении беллетрист Ю. Слезкин. Здесь, на юге, это имя, пожалуй, мало кто скажет читающей публике, но у нас в далеком Петрограде имя это было достаточно известно. Еще совсем молодой, лет тридцати, красивый, жизнерадостный Юрий Львович Слезкин занимал не последнее место в среде современных писателей. Незадолго до большевизма он начал издавать (будто бы предчувствуя скорую гибель свою) полное собрание своих сочинений... Трудно представить себе... что он расстрелян... Мир праху твоему. Пусть там за гробом снится тебе великий Петроград и не мучают светлую душу твою кошмары последних лет».

<sup>81</sup> *Завподиск* – заведующий подотделом искусств.

Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх не свойствен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

– Завлито?

– Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла.

*Та, та, там, там.*

*В сердце бьется динамо-снаряд.*

*Та, та, там.*

Стишки – ничего. Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

## **V. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН**

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так было дело:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенче-

ских штанах, та, с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе<sup>82</sup>. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк – в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

*Довольно пели вам луну и чайку!  
Я вам спою чрезвычайку!!*

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском. И обоих стер с лица земля. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу<sup>83</sup>. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни»<sup>84</sup>, за камер-юнкерство и холопскую стихию вообще, за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

---

<sup>82</sup> ...входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. – Предположительно речь идет о К. Гатуеве (1892–1938), осетинском писателе.

<sup>83</sup> В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. – Булгаков красочно описывает доклад редактора владикавказской газеты «Коммунист» Г. А. Астахова под названием «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения» на вечере, состоявшемся в летнем театре 22 июня 1920 г. О содержании выступления можно судить хотя бы по такому отрывку: «И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся» (Театр. 1987. № 6. С. 150).

<sup>84</sup> ...вперед гляжу я без боязни... – У Пушкина: «...гляжу вперед я без боязни...» – «Стансы» (1826).

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

– Выступайте оппонентом!

– Не хочется.

– У вас нет гражданского мужества.

– Вот как? Хорошо, я выступлю.

И я выступил, чтоб меня черти взяли<sup>85</sup>! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

*...ложная мудрость мерцает и тлеет*<sup>86</sup>

*Пред солнцем бессмертным ума...*

Говорил Он:

*...клевету приемли равнодушно*<sup>87</sup>.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

---

<sup>85</sup> *И я выступил, чтоб меня черти взяли!* – Булгаков выступил главным оппонентом по докладу Г. А. Астахова. Выступление его было аргументированным и страстным, уже тогда сказывалась его безудержная «сценическая кровь». Ю. Слезкин об этом событии писал так: «Во Владикавказе нераздельно царит Маяковский. Вообще, как ни странно, Владикавказ весьма „футуристичен“ во всех областях своей жизни. Устраиваются диспуты, где поносится Пушкин как „буржуазный“, „контрреволюционный“ писатель... Молодой беллетрист М. Булгаков „имел гражданское мужество“ выступить оппонентом, но зато на другой день в „Коммунисте“ его обвиняли чуть ли не в контрреволюционности» (Слезкин Ю. Литература в провинции. Письмо из Владикавказа // Вестник литературы. 1921. № 1. С. 14).

<sup>86</sup> *...ложная мудрость мерцает и тлеет...* – Цитата из «Вакхической песни» Пушкина (1825).

<sup>87</sup> *...клевету приемли равнодушно...* – Цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

– Дожми его! Дожми!

.....

Но зато потом!! Но потом...

Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я «буржуазный подголосок»...

.....

Я – уже не завлито. Я – не завтео. Я – безродный пес на чердаке. Скорчившись сию. Ночью позвонят – вздрагиваю<sup>88</sup>.

.....

О, пыльные дни! О, душные ночи!..

И было в лето от Р. Х. 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскуртант вин. В книжечке – его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

---

<sup>88</sup> Я – уже не завлито... Ночью позвонят – вздрагиваю. – Этот небольшой отрывок текста, видимо, оказался в этом месте по ошибке (и это не единственный случай), поскольку подотдел искусств был разогнан осенью, а Булгаков был уволен 25 ноября 1920 г. И до этого ему с женой приходилось жить в постоянном страхе (охота на бывших белых офицеров велась постоянно; Т. Н. Лаппа вспоминала: «Идем по улице, и я слышу: „Вон, белый идет. В газете ихней писал"»), но после увольнения со службы ожидание ареста стало особо мучительным. Газеты того времени выходили с огромными списками арестованных и расстрелянных «белобандитов». Действовала инструкция неизвестного Карла Ландера – особо-уполномоченного ВЧК на Северном Кавказе, в соответствии с которой все бывшие белые офицеры подлежали немедленному аресту.

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда<sup>89</sup>. Дебоширит на страницах газеты (4-я полоса, 4-я колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть<sup>90</sup>...

А я пропаду, как червяк.

## VI. БРОНЗОВЫЙ ВОРОТНИК

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-вом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!.....

.....

Беллетриста Слезкина выгнали к черту<sup>91</sup>. Несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот

---

<sup>89</sup> *Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда.* – Речь идет о М. Боксе, который действительно выбрал подотдел искусств и персонально Булгакова в качестве объектов для самой разнузданной травли.

<sup>90</sup> *Он там, идеже несть...* – То есть Пушкин там, куда лишь воссылается молитва: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Но Пушкина пришлось вспоминать Булгакову еще не раз и при самых разных (чаще трагических) обстоятельствах. А в марте 1932 г., после того как усилиями Вс. Вишневского и других Ленинградский Большой драматический театр отклонил пьесу «Мольер», он писал своему другу П.С.Попову: «Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжкую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь (идеже несть... – *В. Л.* ), найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине... Меняется оружие!»

<sup>91</sup> *Беллетриста Слезкина выгнали к черту.* – Опять обнаруживается путаница с расположением нескольких отрывков текста. Данный отрывок и затем вся глава седьмая по времени действия должны следовать после главы девятой. Но и это еще не все. Фраза: «А этот сел на его место» – указывает на то, что за данным отрывком должен следовать текст из главы тринадцатой, начиная со слов: «Чаша переполнилась...» – и кончая фразой: «Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу».

сел на его место. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер.

.....

## VII. МАЛЬЧИКИ В КОРОБКЕ

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать<sup>92</sup>...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечно-звериной-тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-ME MARIE. MODES ET ROBES<sup>93</sup>»

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок!

Не ребенок. Мы бедные!

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайние равнины... На юг – ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе – море. Над ним светит Золотой Рог<sup>94</sup>...

---

<sup>92</sup> *И опять, как жуки на булавках, будем подыхать...* – См. книгу сатирика А. С. Бухова (1889–1937) «Жуки на булавках» (1915). Булгаков был с ним знаком и даже хаживал к нему играть в шахматы. Любопытна запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 16 августа 1937 г.: «Пошли во Всероскомдрам... Встретили там Ардова, он сказал, что арестован Бухов».

<sup>93</sup> Мадам Мари. Моды и платья (*фр.*).

<sup>94</sup> *...светит Золотой Рог...* – Бухта у европейских берегов южного входа в пролив Босфор близ Стамбула. Золотой Рог стал манящей звездой для писателя, размышлявшего о своем будущем.

...Мух на tangle-foot'e<sup>95</sup> видели?!

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки<sup>96</sup>. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и – легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся...

Какие имена на иссохших наших устах! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..

.....

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

## VIII. СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Евреинов приехал<sup>97</sup>. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго – три года в теплушке.

---

<sup>95</sup> Липкая бумага (англ.).

<sup>96</sup> И араки. – Местная водка-самогон, типа грузинской чачи.

<sup>97</sup> Евреинов приехал. – Н. Н. Евреинов (1879-1953) – литератор, режиссер, теоретик и историк театра, один из создателей петербургского театра миниатюр «Кривое зеркало». В 1918 г. находился в Киеве, и не исключено, что Булгаков мог слушать его лекции. При работе над романом «Мастер и Маргарита» Булгаков использовал сочинения Н. Н. Евреинова, и чаще всего книгу «Азazel и Дионис» (Л., 1924). Вообще еврейновский стиль очень импонировал писателю.

Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе<sup>98</sup>...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич<sup>99</sup>. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

Евреинов находчивый человек:

– А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом<sup>100</sup> и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

---

<sup>98</sup> *Братья писатели, в вашей судьбе...* – Булгаков прекрасно знал и любил поэзию Некрасова, очень часто использовал ее в своих сочинениях и даже в письмах правительству. В данном случае он вкладывает вполне определенный смысл, цитируя «неточно» стихотворение Некрасова «В больнице» (1855): «Братья писатели! в нашей судьбе // Что-то лежит роковое».

<sup>99</sup> ...у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной... сидел за пианино Николай Николаевич. – После того как «беллетриста Слезкина выгнали к черту» и он покинул Владикавказ, никак не мог состояться у него вечер встречи с Евреиновым (это произошло летом), что еще раз подтверждает – конец главы шестой и вся седьмая должны следовать за главой девятой.

<sup>100</sup> ...диалог между булатом и златом... – В «Музыкальных гримасах» Евреинов использовал и стихотворение (перевод анонимной французской эпиграммы) Пушкина «Золото и булат» (1827).

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один – из Керчи в Вологду, другой – из Вологды в Керчь<sup>101</sup>. Лезет взъерошенный Осип<sup>102</sup> с чемоданом и сердится:

– Вот не доедем, да и только! Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев<sup>103</sup>. Из Тифлиса в Москву.

– В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

– Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

– В Тифлисе лучше.

Третий – Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

– Из Крыма<sup>104</sup>. Скверно. Рукописи у вас покупают?

---

<sup>101</sup> *Один – из Керчи в Вологду, другой – из Вологды в Керчь.* – Булгаков использует диалог Несчастливцева и Счастливецца из пьесы Островского «Лес» (1871): «– Куда и откуда? – ...из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с? – ...Из Керчи в Вологду» (действие II, явл. 2).

<sup>102</sup> *Лезет взъерошенный Осип...* – Почти дословно цитируется монолог Осипа, слуги Хлестакова, из комедии Гоголя «Ревизор»: «Вот не доедем, да и только, домой!» (действие II, явл. 1).

<sup>103</sup> *Рюрик Ивнев (подлинное имя – М. А. Ковалев, 1891 – 1981)* – поэт, писатель, автор романа о Сталине.

<sup>104</sup> *Третий – Осип Мандельштам... Из Крыма.* – О. Э. Мандельштам (1891–1938) бежал из Крыма от белогвардейцев. Метался по Кавказу. Летом 1921 г. Булгаков встретился с ним в Батуме. Об этом есть короткая запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 13 апреля 1935 г.: «Жена Мандельштама вспоминала, как видела М. А. в Батуме лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре».

– ...но денег не пла... – начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк<sup>105</sup>. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

– В Ростове лучше?

– Нет, я отдохнуть!!

Оригинал – золотые очки.

Серафимович – с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

– Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул – сверху другое поставил. Подумал – еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех *in corpore* под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

## IX. ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павлови-

---

<sup>105</sup> *Беллетрист Пильняк.* – Б. А. Пильняк (Воган) (1894–1938) – известный к тому времени писатель. Булгакову не очень нравилось, когда друзья указывали ему на то, что он якобы в «Белой гвардии» пытается подражать Пильняку. Между прочим, об этом же писал в 1927 и 1929 гг. М. Осоргин в своих отзывах на первую и вторую части романа, вышедшие в указанные годы в Париже.

ча Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе»<sup>106</sup>. Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

– Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник<sup>107</sup>.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

– Пиши вторую программу.

---

<sup>106</sup> Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». – Это было 14 октября 1920 г. Т. Н. Лаппа, не склонная в своих воспоминаниях к каким-либо преувеличениям или восторгам в отношении Булгакова, по поводу его выступлений заметила: «...он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что... это другие так отзывались...»

<sup>107</sup> «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник. – Речь идет об инсценировках рассказов А. П. Чехова «Хирургия» (1884) и «Смерть чиновника» (1883).

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер»<sup>108</sup>.

Любовно с Юрием составляли программу.

– Этот болван не умеет рисовать, – бушевал Слезкин, – отдадим Марье Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

– А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

– Вам, по-видимому... э... не нравится?

– Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень... Только вот... бакенбарды...

– Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

---

<sup>108</sup> Решили... пустить «Пушкинский вечер». – Пушкинский вечер состоялся 26 октября 1920 г.

– Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

– Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

– Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

– А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

– Я на вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! Что было... Лишь только раскрылся занавес и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

– Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло *crescendo*<sup>109</sup>. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта – театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Biss!!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как

---

<sup>109</sup> По нарастающей (*ит.*).

дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал?.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

### ОПЯТЬ ПУШКИН!

Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т.д.

Господи! Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо?

Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...

..Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

### Х. ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ

Голодный, поздним вечером, иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу.

– Александр Пушкин! *Lumen coeli. Sancta rosa*<sup>110</sup>. И как гром его угроза<sup>111</sup>.

---

<sup>110</sup> Свет небес. Святая роза (*лат.*).

<sup>111</sup> *И как гром его угроза.* – Из стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бед-

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

## XI. НЕ ХУЖЕ КНУТА ГАМСУНА<sup>112</sup>

Я голодаю<sup>113</sup> .....  
.....

## ХII. БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ!

– Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

---

ный» (1829), которое имело несколько редакций. В ранней редакции под названием «Легенда» было: «Lumen coeli, sancta roza! / Восклицал всех громче он, / И гнала его угроза...» В основной редакции: «Lumen coelum, sancta Roza! / Восклицал в восторге он, / И гнала его угроза...» Позже (1835) поэт переработал это стихотворение (в печати оно не появилось по цензурным соображениям) и включил в пьесу (незавершенную) «Сцены из рыцарских времен» (первая песня Франца). В «песне» этот фрагмент звучал так: «Lumen coelum, sancta roza! / Восклицал он, дик и рьян, / И как гром его угроза / Поражала мусульман». Булгаков взял первую строфу из ранней редакции стихотворения и третью строфу из «песни Франса» (из позднейшей редакции).

<sup>112</sup> *Не хуже Кнута Гамсуна.* – Булгаков сравнивает свое положение с тем голодающим литератором, о котором рассказывается в романе Кнута Гамсуна (1859–1952) «Голод» (1890). Этот роман переиздавался в России десятки раз начиная с 1892 г.

<sup>113</sup> *Я голодаю...* – Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «...все, что осталось у меня: два золотых колечка, золотая массивная цепочка, брошки – все это пошло на рынок и в близлежащие села в обмен на продукты и топливо...»

Слезкин в это время покинул Владикавказ. Булгаков не рискнул поехать с ним в Москву, прокормить же себя и жену он мог только писательским трудом – пьесами. Слезкин позже отметит в своем дневнике-воспоминаниях: «...последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)».

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

– У меня тоже нет денег. Выход один – пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

– Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

– Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт – чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того вечера мы стали писать<sup>114</sup>. У него была круглая

---

<sup>114</sup> *С того вечера мы стали писать.* – Речь идет о пьесе «Сыновья муллы». Текст ее, по иронии судьбы, сохранился и находится в архиве писателя. Во Владикавказе Булгаков поставил несколько своих работ, тексты которых, к сожалению, не сохранились (об этом см. письма Булгакова из Владикавказа своим родным за 1921 г.). В дневнике Ю. Слезкина также имеется короткая запись об этом периоде: «...во Владикавказе он (Булгаков. – В. Л.) поставил при моем содействии свои пьесы „Самооборона“ в одном акте и „Братья Турбины“ – бледный намек на теперешние „Дни Турбиных“... Все это звучало весьма слабо. Я, помнится, говорил к этой пьесе вступительное слово...»

Конечно, пьесы помогли Булгаковым продлить свое существование (физически и политически), и в словах Слезкина «Булгаков переметнулся...» была, конечно, доля правды. Но лишь доля... Ибо только «железная необходимость» заставила Булгакова писать о том, что было противно его духу. И в письме сестре Вере Афанасьевне от 26 апреля 1921 г. он так характеризовал свое творчество: «Я очень тронут и твоим и Варинным пожеланием мне в моей литературной работе. Не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится... *Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное...*» (выделено нами. – В. Л.). Разумеется, к пьесам «вымученным» прежде всего относились «Сыновья муллы» и «Парижские коммунары» (в меньшей степени).

жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

– Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить<sup>115</sup>! Порвать, сжечь... От людей скрыть. Но от самого себя – никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

---

<sup>115</sup> ...правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! – Вот перед нами «первая редакция» знаменитого: «Рукописи не горят?..»

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее медленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, – после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, – кричали:

– Ва! Подлец! Так ему и надо! И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

За кулисами пожимали руки.

– Пирикрасная пьеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию – сушу – в Париж<sup>116</sup>!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз – домой...

...Вы – беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

---

<sup>116</sup> *Вперед. К морю. Через море и море, и Францию – сушу – в Париж!* – Спустя шестьдесят лет об этом же говорила и Т. Н. Лаппа: «...Булгаков стал думать, чтобы уехать. Он хотел за границу уехать, по правде сказать. Скажу прямо. Он так мечтал». Мечтания у Булгакова были разные, разными они были и на одну и ту же тему. Но мысль об эмиграции, несомненно, в нем бродила. Вот выдержки из его писем к родным: «По-сылаю кой-какие вырезки и программы... Если я уеду и не увидимся – на память обо мне» (апрель 1921 г.); «В случае отсутствия известий от меня больше полугода... брось рукописи мои в печку» (май 1921 г.); «Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба!» (июнь 1921 г.).

### ХІІІ

Сгинул город, у подножия гор<sup>117</sup>. Будь ты проклят... Цихидзири. Махинджаури. Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!

На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинается, до поздней ночи болит голова, И вот ночь – на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса – трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог<sup>118</sup> .....

---

<sup>117</sup> *Сгинул город у подножия гор.* – 26 мая 1921 г. Булгаков выехал поездом (!) через Баку в Тифлис и 2 июня был в городе. В тот же день он написал письмо сестре Надежде в Москву, в котором были весьма интересные намеки. «Может быть, окажусь в Крыму...» – сообщал он. А ведь исследователи рассматривают только «стамбульскую» версию, о «крымской» версии – ни слова. Между тем именно Крым, с его белогвардейской «начинкой», вполне мог привлечь внимание Булгакова.

Представляет также интерес его фраза: «„Турбиных“ переделываю в большую драму». К сожалению, следов этой переделки не осталось.

<sup>118</sup> «Полацкий» идет на Золотой Рог... – О тифлиско-батумской эпопее рас-

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

– Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сочиним!

---

сказывает Т. Н. Лаппа: «...Михаил отправился на разведку в Тифлис с намерением поставить там свою пьесу. Следом за ним приехала и я. Но работу мы никак не могли найти. И мы вынуждены были продать свои обручальные кольца, которые были куплены в Киеве у знаменитого ювелира, магазин которого находился в начале Крещатика, – Маршака. Кольца на внутренней стороне имели надписи: на одном – „Михаил Булгаков“, на другом – „Татьяна Булгакова“. Где-то они теперь?» Из более поздних ее воспоминаний: «...в Тифлисе... он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедет в Батум. Продали обручальные кольца и поехали. В Батуме мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже все пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: „Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову“... Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся» (Запись Л. К. Паршина). Кое-что характерное о Батуме написал и О. Мандельштам в очерке «Батум» (Правда. 1922. 3 февраля): «Механизм этого маленького, почти игрушечного городка, вознесенного условиями нашего времени на высоту русской спекулятивной Калифорнии, необычайно прост. Есть одна пружина – турецкая лира...»

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

#### **XIV. ДОМОЙ**

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег – пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..

В Москву! В Москву!!

В Москву!!!

.....

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый Мыс!

#### **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

##### **I. МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ**

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:

*C'est l'alu-u-ttefina-a-le!  
...L'Internationa-a-a-le*<sup>119</sup>

И здесь – так же хрипло и страшно:

*С Интернационалом!!*

Во тьме – теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

– Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

– Позвольте, я возьму.

На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

– Три пуда... Утапывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах, на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза

---

<sup>119</sup> Это последняя битва! С Интернационалом!! (фр.).

ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть как?..

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем

афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки!

Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор – Конан Дойл. Любимая опера – «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин ко-

роткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубину.

## II. ДОМ № 4, 6-й ПОДЪЕЗД, 3-й ЭТАЖ, КВ. 50, КОМНАТА 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился, именно в это колоссальное здание<sup>120</sup>. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба..

Толкнул незапертую, дверь. В полутемной передней огромный ящик, с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд<sup>121</sup>».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

---

<sup>120</sup> Дом № 4... колоссальное здание. — Речь идет о здании бывшего страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. В 1920-е гг. там находился Главполитпросвет со своими структурными отделениями.

<sup>121</sup> ...кто-то сказал: «Мейерхольд». — Булгаков резко отрицательно относился к творчеству Мейерхольда. Это прослеживается в течение почти двадцати лет (см.: Булгаков М. Дневник. Письма. 1914–1940. М., 1997; Дневник Елены Булгаковой. М., 1990).

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая – не знает.. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь – ванная. А на другой двери – маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли... А, слава. Богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь – вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: На дне, Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым<sup>122</sup>?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры – сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

---

<sup>122</sup> *А вдруг это Брюсов с Белым?..* – Первоначально восхищенное отношение к именам знаменитых писателей очень быстро сменилось у Булгакова на скептически-критическое (по разным причинам, конечно, но главным критерием была все-таки верность русским традициям в самом широком понимании этого слова). Об этом говорят и дневниковые записи Булгакова. 12 октября 1924 г.: «Сейчас хоронят В. Я. Брюсова. У Литературно-художественного института его имени на Поварской стоит толпа в колоннах. Ждут лошади с красными султанами (вспомним сцену похорон Берлиоза в „закатном романе“. – В. Л). В колоннах интеллигенция и полуинтеллигенция. Много молодежи – коммунистически-рабфаковского мейерхольдовского типа». 26 января 1925 г.: «Позавчера был у П. Н. Зайцева на чтении А. Белого... Белый в черной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает. Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня все это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор... символисты... В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятыми, долго нестерпимо говорил... о каком-то папортнике... о том, что Брюсов был „Лик“ символистов, но в то же время любил гадости делать... Я ушел, не дождавшись конца. После „Брюсова“ должен был быть еще отрывок из нового романа Белого. Мега».

– Не могу войти! – крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

– Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

### III. ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые. В руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой – седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами – был в папаше, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout<sup>123</sup>. Как-то косноязычно:

– Это... Лито?

– Да.

– Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

– Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, высыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

---

<sup>123</sup> Все (фр.).

– Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

– Так вы?..

Я ответил:

– Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

– Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

– Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой<sup>124</sup>. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыг-

---

<sup>124</sup> *Заявление было у меня за пазухой.* – Сведения о работе Булгакова в Лито Главполитпросвета довольно полно сохранились в ЦГА РФ (см.: Янгиров Р. М. А. Булгаков – секретарь Лито Главполитпросвета // М. А. Булгаков – драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 225–245). Сохранилось и его заявление следующего содержания: «Заведующему Лито литератора Михаила Афанасьевича Булгакова Заявление Прошу о зачислении моем на должность Секретаря Лито. Михаил Булгаков». Можно предположить, что соответствующая информация о Лито была дана Булгакову его сестрой Н. А. Земской, служившей инструктором в системе Главполитпросвета с 20 марта по 1 октября 1921 г.

нула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

– Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой ро-счерк.

Молодой дернул меня за рукав:

– Идите наверх, скорей, пока он не уехал! Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: «Мейерхольд. Октябрь театра...»

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал.

– Назначил? Прекрасно. Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

– Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

– Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

– Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

– Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

«Назн. секр.» Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

– Это вам. 1/4 пайка.

#### IV. Я ВКЛЮЧАЮ ЛИТО

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый – стихи) и я<sup>125</sup> (ничего не писал)..

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотобрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 г.».

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

---

<sup>125</sup> В конце 21-го года литературой в Республике занималось 3 человека: старик... молодой... и я... – Старик – А. П. Готфрид, молодой – В. С. Богатырев – фигуры в литературе незаметные. О них см.: Янгиров Р. С. 231–232.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент, — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

...Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь, Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изо».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся вверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «Секретарь».

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь верно, Лито... — сказала первая. Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: «Дайте машину». Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

– Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

– В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

## V. ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн<sup>126</sup>».

– Чем могу вам служить?

– Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т.д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т.д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Штерна: «Пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.

---

<sup>126</sup> Тихо сказал: «Шторн». – Измененная фамилия известного писателя Г. П. Шторма (1898–1978). О других сотрудниках Лито (реальных, а не предполагаемых) см.: Янгиров Р. С. 231–235.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный, в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

– Идите наверх...

Но он ответил:

– Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул в шкаф. Вдохнул.

Подсел ко мне – конфиденциально:

– Деньги будут?..

## **VI. МЫ РАЗВИВАЕМ ЭНЕРГИЮ**

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя – король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

– Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только, предполагалось, – есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (то есть печальная жена разбойника) [должны] составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория. На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 час 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но – у старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

а) лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо;

б) комиссию для рассмотрения лозунгов составить для

полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо;

с) за лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 час 50 мин., а в 3 час. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5-6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я – писавший лозунги – не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика – 3 лозунга.

у молодого – 3 лозунга.

у меня – 3 лозунга

и т.д. и т.д.

Словом: каждому 45 тысяч.

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе<sup>127</sup> с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

## VII. НЕОЖИДАННЫЙ КОШМАР

...Клянусь, это сон!!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидал: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной

---

<sup>127</sup> ...на Трубе... – Имеется в виду Трубная площадь.

женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно.

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача<sup>128</sup>!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

«1836

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...»

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:  
– Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

---

<sup>128</sup> *Канатчикова дача!*.. – Так иронически называлась психиатрическая лечебница в Канатчиково.

– Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

– Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину<sup>129</sup>. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня – душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти, из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я уйду, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

---

<sup>129</sup> ...через всю Москву к Разумихину. – Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников после совершения им убийства неосознанно направляется к добрейшему своему другу Разумихину в надежде получить приют и утешение.

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

## **VIII. 2-й ПОДЪЕЗД, 1-й ЭТАЖ, КВ. 23, КОМ. 40**

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ.  
ИНОГДА ВОВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДО-  
БИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪ-  
ЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НА-  
ДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ,  
КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ  
МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это сушая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось, немного яснее в голове.

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры – 72. 72 раза по 6 комнат – 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда – да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу – Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

– Зачем?!

– Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

– Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

– Да мы думали – вам скажут...

Я скрипнул зубами:

– Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

– Это верно.

## IX. ПОЛНЫМ ХОДОМ

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.».

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов».

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

## X. ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ!

12 таблеток сахарину, и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте вашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

– Ах, у меня голова кругом идет. Что туг делается – уму непостижимо. Семь раз писала ведомость – возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков<sup>130</sup>. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

– Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

– Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито – старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

– Вы, вероятно, не писали анкету?

– Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты<sup>131</sup>. И лично вам

---

<sup>130</sup> *Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков.* – Материалы Лито легко проясняют эту, казалось бы, непонятную реплику Булгакова. В Республике широко отмечался столетний юбилей Некрасова. Лито готовил сборник избранных стихотворений поэта. Булгаков принимал непосредственное участие не только в подготовке сборника, но и в Юбилейной Некрасовской комиссии (27 октября он вел протокол заседания этой комиссии, где председательствовал Серафимович).

Что касается «воскресших алкоголиков», то речь здесь идет о пьесе харьковчанина В. Григоровского «Воскресший алкоголик». Самое интересное заключалось в том, что автор пьесы, как выяснилось, не понимал значения слова «алкоголик».

<sup>131</sup> *Я написал у вас 4 анкеты.* – 1 октября, как сообщает Р. Янгиров, Булгаков заполнил «листок по учету кадров», который представляет несомненный интерес, особенно в отчетах на «щекотливые» вопросы. А ответов на эти вопросы не оказалось: напротив них стояли прочерки. В мировой войне Булгаков не участвовал, в Гражданской – тоже, в боях вообще не принимал участия, раненым и контуженым не был. По профессии – литератор, социальное положение до 1917 г. – студент. Заслуживает нескольких восклицательных знаков его ответ на вопрос: «Ваш взгляд на современную эпоху» – «Эпоха великой перестройки». Думал ли Булгаков, что его несчастная страна через несколько десятилетий вновь будет переживать «Эпоху великой перестройки».

дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет – 113 анкет.

– Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок<sup>132</sup>.

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

---

<sup>132</sup> Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок. – В этой фразе – ключ к пониманию замысла будущей повести «Роковые яйца».

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

– Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

– Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

– А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки. Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома – чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

## XI. О ТОМ, КАК НУЖНО ЕСТЬ

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

– Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

– Иди. Вегетарианский ©бед.

И вдруг я рассердился.

– Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

– Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

– Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба займы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе — котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна<sup>133</sup>. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

## ХII. ГРОЗА. СНЕГ

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

– Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5-6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

– Я разбил их интригу, – сказал он.

Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

– Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

---

<sup>133</sup> ...голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. – Вновь идет сопоставление с героем романа К. Гамсуна (1859–1952) «Голод» (1890). Однако настоящий голод пришел к Булгаковым после ликвидации Лито. Вот короткие дневниковые записи писателя начала 1922 г. (автографы). 25 января: «Я до сих пор без места. Питаемся с женой плохо». 9 февраля: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем».

С такого-то числа Лито ликвидируется<sup>134</sup>.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела – Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники<sup>135</sup>, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

## БОГЕМА

### I. КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ.

#### *ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС*

Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

---

<sup>134</sup> *С такого-то числа Лито ликвидируется.* – Приказ о расформировании Лито был подписан 23 ноября, в нем, в частности, было записано: «Гов. Булгаков считается уволенным с 1/XII с. г. с выдачей на 2 недели вперед».

<sup>135</sup> *...Голодные сборники...* – Речь идет о двух сборниках, которые готовил Лито. Первый сборник «Голод» был составлен из произведений классиков русской литературы, во второй сборник «На голод» были включены работы современных писателей. Булгаков подготовил для этого сборника очерк «Муза мести», в котором рассматривалось творчество Пушкина и Некрасова с точки зрения их отношения к крестьянству. Этот своеобразный очерк еще не получил соответствующей оценки исследователей.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!., «грозный *призрак*»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю – грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев<sup>136</sup> – светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:

– Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)

– Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

– Не спорю. Владикавказ – паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

– Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

– За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить – значит, я подозрительный.)

---

<sup>136</sup> ...присяжный поверенный Гензулаев... – Существует несколько мнений по поводу соавтора Булгакова по пьесе «Сыновья муллы», но чаще всего называется Т. Пейзулаев, живший в те годы во Владикавказе. Т. Н. Лаппа, между прочим, также отмечала, что Булгаков ходил писать какую-то пьесу к соседям Пейзулаевым. Быть может, это и есть самые точные сведения? Во всяком случае, в ранней редакции «закатного» романа варьете возглавляет некий Гарася Педулаев...

– За насмешки.

– Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

– Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

– Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в семь с половиной дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем... вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921–1924 годов и начинаю сомневаться...), ну, не первую – вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмыва-

емое клеймо, и единственное, на что я надеюсь, – это что пьеса истлела уже<sup>137</sup> в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто – мне. Сто – Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи: «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в два дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

- 1) В Тифлисе открыты все магазины.
- 2) – « – есть вино.
- 3) – « – очень жарко и дешевы фрукты.
- 4) – « – много газет и т. д... и т.д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество – одеяло, немного белья и керосинку<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> ...на что я надеюсь, – это что пьеса истлела уже... – Пьеса не только не истлела, но сохранился ее полный текст, ныне опубликованный (см.: Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М., 1997). И хотя исследователи почти в один голос утверждают, что узнать руку Булгакова в ней практически невозможно, тем не менее смеем заметить, что это характерный «вымученный» булгаковский текст.

<sup>138</sup> ...одеяло, немного белья и керосинку. – Это авторское свидетельство под-

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924-м. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

– Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение<sup>139</sup>. Я немедленно подал куда следует заявление и в графе, в которой спрашивается:

– А зачем едешь?

Написал с гордостью:

– В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

– Зачем едете?

– Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

– В особый отдел.

– А зачем? – спросил я.

---

тверждают воспоминания Н. Я. Мандельштам.

<sup>139</sup> *Нужно было поэтому получить разрешение.* – Из воспоминаний Т. Н. Лаппа видно, что Булгаков тщательно готовился к поездке в Тифлис и заранее обзавелся необходимыми документами.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

– Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

– Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю, – ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось – три.

1) В 1907 г., получив 1 р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на Кинематограф.

2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери<sup>140</sup>.

---

<sup>140</sup> В 1913 г. женился, вопреки воле матери. – Против женитьбы Булгакова на Татьяне Лаппа были почти все взрослые родственники с той и другой стороны, ибо они считали, что молодые еще не готовы к семейной жизни (Булгаков был студентом второго курса, Лаппа только закончила гимназию). Именно этот мотив был главным, а не какие-то личные симпатии или антипатии. Это очень хорошо видно из письма Варвары Михайловны к дочери Надежде от 30 марта 1913 г.: «Моя милая Надя! Давно собиралась написать тебе, но не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму: Миша совершенно измочалил меня... В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага: 26 апреля предполагается его свадьба. Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными; так я решила устроить лучше все без скандала. Пошла к о&lt;тцу&gt; Александру Александровичу (священнику А. А. Глаголеву. – В. Л.), поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что „Бог устроит все к лучшему“... Если бы я могла надеяться на хороший результат этого брака; а то я, к сожалению, никаких данных с обеих сторон к каким бы то ни было надеждам не вижу, и это меня приводит в ужас... Можешь представить себе, какой скандал шел всю зиму и на Мариинско-Благовещенской (на этой улице жили родственники Таси. – В. Л.). Бабушка и сейчас не хочет слышать об этой свадьбе...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 76).

3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнуры зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я, — поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно, — задумчиво отозвался симпатичный.

— Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот черный, как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин, и мне двадцать восемь.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

---

Интересные сведения о подготовке к свадьбе приведены в письме старшей сестры Веры к Надежде в Москву от 20 апреля 1913 г.: «...мама не хочет толпы и помпы. К свадьбе приедет мать Таси, Евгения Викторовна. Тасе уже выслали образ из Саратова, а мать приедет благословить. Мама купила и Мише такой же образ, как у Таси, почти точь-в-точь. Оба образа очень хороши. Кольца заказали под руководством мамы, говорят, очень хороши... Я рада, в конце концов, за них, а то они совершенно издергались, изобеспокоились, изволновались и извелись. Теперь же пока наступает некоторое успокоение...» (Там же. С. 77).

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

– Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

– Вы бухгалтер?

– Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

– А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, – скороговоркой проговорил маленький.

– Для постановки моей революционной пьесы, – скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

– Пьесы сочиняете?

– Да. Приходится.

– Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

– Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым делом, я должен был бы ответить так:

– Нет. Она не хорошая пьеса. Она – дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой:

– Проводи литератора наружу.

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но забудь!!!

## II. ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего двести десять верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял мерзкое слово «Баку».

– Возьмите меня с собой, – попросил я.

– Не возьму, – ответил бородатый.

– Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, – сказал я.

– Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

– А какая пьеса? – спросила она.

– Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

– Сами написали? – недоверчиво спросил владелец теплушки.

– Еще Гензулаев.

– Не знаю такого.

– Мне необходимо уехать.

– Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.

– Я не буду выкомаривать, – сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, – на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

– У вас провизии нету?

– Денег немного есть.

Бородатый подумал.

– Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

– Все, что угодно, – уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

– Даже фельетон? – спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

– Фельетон – моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

– Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, – басом сказали ноги, – я пущу товарища фельетониста.

– Ну, пусть, – растерянно сказал Федор с бородой. – А какой фельетон вы напишете?

– Вечные странники.

– Как будет начинаться? – спросили нары. – Да вы полезайте к нам чай пить.

– Очень хорошо – вечные странники, – отозвался Федор, снимая сапоги, – вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера – сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши – равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ<sup>141</sup>!

## ДЬЯВОЛИАДА

*Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя*

### 1. ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных

---

<sup>141</sup> *Прощай, Владикавказ!* – Ср. с текстом «Записок на манжетах»: «Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят...» Время лечит. Позже Булгакова постоянно будет тянуть в места, где он испытал столько трудностей: Владикавказ, Тифлис, Батум... И в этом смысле символична его дневниковая запись от 24 (11) мая 1923 г.: «21 апреля я уехал из Москвы в Киев и пробыл в нем до 10-го мая... *На Кавказ, как собирался* (выделено нами, – В. Л.), не попал». Владикавказ многократно будет звучать и в произведениях писателя, в том числе и в «закатном романе».

Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он – Коротков – будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.

Вернулся же кассир в 4½ часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку – портфель и сказал:

– Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу – свою правую руку и молвил:

– Денег не будет.

– Завтра? – хором закричали женщины.

– Нет, – кассир замотал головой, – и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

– Как? – вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

– Граждане! – плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. – Я же прошу!

– Да как же? – кричали все и громче всех этот комик Коротков.

– Ну, пожалуйста, – сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать.

за т. Субботникова – Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет.

За т. Иванова – Смирнов».

– Как? – крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

– Ах ты, Господи! – растерянно заныл тот. – При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» – и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, – босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

## 2. ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, открылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

– Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

– Как? – радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского – Преображенский.

И я полагаю – Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

– Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался, к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

– Войдите, – глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

– 46, – сказала она и повернулась к Короткову.

– Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, – вымолвил пораженный Коротков.

– Церковное вино, – всхлипнув, ответила соседка.

– Как, и вам? – ахнул Коротков.

– И вам церковное? – изумилась Александра Федоровна.

– Нам – спички, – угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

– Да ведь они же не горят! – вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

– Как это так, не горят? – испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй – в левый глаз товарища Короткова.

– А-ах! – крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

– Ах, Боже мой! – расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

– Врет, дура, – ворчал Коротков, – прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

### 3. ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее, повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, – будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», – подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

– Что вам надо? – спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалёковидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, – обиделся.

– Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

– А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знакомую надпись:

### БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ

– Я и иду с докладом, – сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

– Вы, товарищ, – сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, – настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-ах!» – ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кар-

мана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

– Ступайте! – рывкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, – в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

– А-ах! – ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

– Что это у вас?

– Спички! – раздраженно ответила Лидочка. – Проклятые.

– Кто там такой? – шепотом спросил убитый Коротков.

– Разве вы не знаете? – зашептала Лидочка, – новый.

– Как? – пискнул Коротков, – а Чекушин?

– Выгнали вчера, – злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: – Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! – добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

– Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

– Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова:

«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

– Вот это здорово! – восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

*«Телефонограмма.*

*Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за № 015015(6) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».*

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

– Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких зву-

ков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3 1/2 часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

– Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

#### 4. ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ – КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у

стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

## **Приказ № 1**

1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно.

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

– Как? Как? – прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал, – его фамилия Кальсонер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

– Ай, яй, яй, – загудел в отдалении, выглядывая из grossбуха. Скворец, – как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

– Я ду-думал, думал... – прохрустел осколками голоса Коротков, – прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

– Подштанники я не одену, пусть он успокоится! – хрустально звякнула Лидочка.

– Тсс! – змеей зашипел Скворец, – что вы?

Он нырнул, спрятался в grossбухе и прикрылся страницей.

– А насчет лица он не имеет права! – негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горноста́й, – я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

– Тише! – пискнул побледневший Гитис, – что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-р-р-р, – неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

– Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! – высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед

страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

– Товарищ Пантелеймон, – заговорил беспокойно Коротков. – Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минуту...

– Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, – захрипел Пантелеймон и страшным запахом лука затушил решимость Короткова, – нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

– Пантелеймон, мне же нужно, – угасая, попросил Коротков, – тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустименя, милый Пантелеймон.

– Ах ты ж, Господи... – в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, – говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

– Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

– Товарищ Кальсонер, – забормотал он прерывающимся голосом, – позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

– Товарищ! – звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге, – вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

– Так я насчет прика...

– Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обращайтесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

– Я ж делопроизводитель! – в ужасе облившись потом, визгнул Коротков, – выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

– Товарищ! – заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул:

– Примите меры, чтоб меня не задерживали!

– Товарищ! – испугавшись, захрипел Пантелеймон, – что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, – ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, – Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

– Пит! Питт! – закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

– Бе-да!

– Пантелеймон... – трясущимся голосом спросил Коротков, – куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

– Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

## 5. ДЬЯВОЛЬСКИЙ ФОКУС

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец, у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под носом автомобиля поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилен, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой была две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком:

**ДОРТУАР ПЕПИНЬЕРОКЪ**

другая черным по белому без твердого:

**НАЧКАНЦУПРАВДЕЛСНАБ**

Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидал стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки – там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, – женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках.

– Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

– Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидал открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, – догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

– Товарищ Кальсонер, – прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по

площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, – что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, – это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

– Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», – стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка – гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

– У вас, товарищ, порок сердца?

– Нет, ох нет, товарищ, – выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, – не задерживайте меня.

– Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, – сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

– Я не хочу! – плаксиво вскричал Коротков, – товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

– Ничего не могу сделать, вы сами знаете, – сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

– Пустите меня! – визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью вверху серебром по синему:

## ДЕЖУРНЫЕ КЛАССНЫЕ ДАМЫ

и внизу пером по бумаге:

## СПРАВОЧНОЕ

Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись:

«Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

– Где шестой? Где шестой? – слабо крикнул он кому-то.

Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

– Что? Все ходите? – зашамкал он, – ей-Богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

– Откуда вычеркнули? – остоленел Коротков.

– Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком – чирк, и готово – хи-хи. – Старичок сладострастно засмеялся.

– Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

– Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

– Я – Варфоломей, – сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, – Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

– Что ж вы путаете меня? Вот он – Колобков В. П.

– Я – Коротков, – нетерпеливо крикнул Коротков.

– Я и говорю: Колобков, – обиделся старичок. – А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера – Чекушин.

– Что?.. – не помня себя от радости, крикнул Коротков. – Кальсонера выкинули?

– Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

– Боже! – ликуя воскликнул Коротков, – я спасен! Я спасен! – и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова

померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

– Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

– Обязательно, – подтвердил старичок, – тут и сказано – в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

– Голубчик! – бросился к нему Коротков, – бумажник мой, желтый...

– Неправда это, – злобно ответил мальчишка, – не брал я, врут они.

– Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

– Ах, Боже мой! – в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг

вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.

– Ах, беда-то, вот уж беда, – бормотал Коротков, – это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

– Куда ты лезешь?

– Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

– И очень просто, – подтвердил человек на крыльце.

– Так вот позвольте...

– Пущай Коротков самолично и придет.

– Так я же, товарищ, Коротков.

– Удостоверение дай.

– Украли его у меня только что, – застонал Коротков, – украли, товарищ, молодой человек с усиками.

– С усиками? Это, стало быть. Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

– Товарищ, я не могу, – заплакал Коротков, – мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

– Удостоверение дай, что украли.

– От кого?

– От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? – подумал он. – У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно, – подумал Коротков, – домой».

## 6. ПЕРВАЯ НОЧЬ

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

*«Дорогой сосед! Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье – его никто не хочет покупать. Они в углу.*

*Ваша А. Пайкова».*

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

– Вот! Вот! Вот! – провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

– Позвольте... как же это так?.. – прошептал он и провел рукой по глазам, – это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обрываясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного заплакал.

– Позвольте... – вдруг пробормотал он, – чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, – мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» – шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

## 7. ОРГАН И КОТ

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятит чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, по-

кинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «**Домовой**». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали:

«По случаю смерти свидетельства не выдаются».

— Ах ты, Господи, — досадливо воскликнул Коротков, — что же это за неудачи на каждом шагу. — И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «**Делопроизводитель**», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной

персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

– Что вам угодно, товарищ? – вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

– Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

– Извиняюсь, – вежливо ответил он, – здешний делопроизводитель – я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

– А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

– Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

– Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

– Хорошо! – грохнул таз, и судорога свела Короткова, – я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так

пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

– Штат я разверстал, – быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. – Трое там, – он указал на дверь в канцелярию, – и, конечно, Манечка. Вы – мой помощник. Кальсонер – делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

– Я. Нет, – сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, – я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

– Все? – выкрикнул Кальсонер, – вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 015, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ, и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

– Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

– Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

*«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно.*

*Кальсонер».*

– О-о! – простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку, – что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

– Кальсонер уже удрал? – тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

– А-а-а-а... – взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

– Курьер! Курьер! На помощь!

– Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... – опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как

по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

– Будут стрелять. Будут стрелять! – пронесся ее истерический крик.

Кальсонер вскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

– Боже... – начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

*Шумел, гремел пожар московский...*

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатыл по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

*Ды-ым расстился по реке-е.*

– Что я наделал? – ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

*А на стенах ворот кремлевских...*

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, – Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

*Стоял он в сером сюртуке...*

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

– Господи! Господи! – бурно зарыдал Коротков, – опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

– Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими

ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны выющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

– Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

– Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? – пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

– Довольно. Я так не оставлю! Я его разъясню.

Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

– Где бюро претензий, товарищ?

– 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, – ответил чайник женским голосом.

– 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, – бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. – 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, – мычал он, – ах. Боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными об-

рывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной, гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

– Ян Собесский.

– Не может быть... – ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

– Представьте, многие изумляются, – заговорил он с неправильными ударениями, – но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии – Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, – мужчина обидчиво скривил рот, – я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

– Помилуйте, что вы, – болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: – Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном чловеке; неясно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

– И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже не-

где вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? – ласково спросил он у бледного Короткова. – Ах да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомиться, – он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, – Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

– Итак, – сладко продолжал хозяин, – чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? – закатив белые глаза, протянул он. – Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» – туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

– У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради Бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

– Так я и знал, – вскричал хозяин, – это они?

– Ах, Боже мой, ну, конечно, – отозвалась женщина, – ах, эти ужасные Кальсонеры.

– Вы знаете, – перебил хозяин взволнованно, – я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйте. Ну что он понимает в журналистике?.. – Хозяин ухватил Короткова за

пуговицу. – Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторэ этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

– Какое бюро? – глухо спросил Коротков.

– Ах, да эти претензии или как их там, – с досадой сказал хозяин.

– Как? – крикнул Коротков. – Как? Где оно?

– Там, – изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

– Ах, черт! – ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

– Извините, что я не попрощался... – начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

– Баба! Баба! – тревожно закричал Коротков, – где бюро?

– Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, – ответила баба, – да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо – десять этажей.

– У-у... д-дура, – стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги слышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг, – и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завyli тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

– Пойдите, – прохрипел Коротков, – минутку... вы только объясните...

– Спасите! – заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в

черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно, — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, — ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

## 8. ВТОРАЯ НОЧЬ

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, — завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, — ты сам по себе, я сам по себе. Я

себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы – и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных», – подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь. 13, 14, 15... 40...

– Сорок раз пробили часики, – горько усмехнулся Короткое, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

– Крепкое, ох крепкое вино, – выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и потушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

## 9. МАШИННАЯ ЖУТЬ

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «**Комнаты 302-349**». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «**302 – Бюро претензий**».

Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней – смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

– Выйдем в коридор, – резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» – тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повинился. Шесть оставшихся взволнованно зашущукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

– Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

– Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

– Я отдамся тебе... – шепнуло у самого рта Короткова.

– Мне не надо, – сипло ответил он, – у меня украли документы.

– Тэк-с, – вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидал люстринового старичка.

– А-ах! – вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

– Хи, – сказал старичок, – здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

– А заявленьице я на вас подам, – злобно продолжал люстрин, – да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

– Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать; господин Колобков? Что ж... – Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. – Берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, – голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, – не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, – и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он мелко затопал ногами.

– К чертовой матери! – тонко закричал он, и его большой голос разнесся по сводам. – Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

– Следующий! – каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

– Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

– Документы украли, – дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, – и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

– Ну, это вздор, – ответил синий, – обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

– Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневового ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

– Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

– Естественно, вылез, – ответил синий, – не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

– Но как? Как? – зазвенел Коротков.

– Ах ты, Господи, – взволновался синий, – не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

– Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

– Ну и чудесно, – ответил блондин, – а то мне надоела эта волынка.

– Я не хочу! – вскричал Коротков, блуждая взором. – Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

– Товарищ, это в отделе брачующихся, – запищал секретарь, – мы ничего не можем сделать.

– О, дурашка! – воскликнула брюнетка, выглянув опять. – Соглашайся! Соглашайся! – кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

– Товарищ! – зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. – Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

– Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно – Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! – выйдя из себя, загремел блондин.

– Рукопожатия отменяются! – кукарекнул секретарь.

– Да здравствуют объятия! – страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

– Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада

к ближнему твоему, – прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... – Я и не вхожу, не вхожу-с, – а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую – и на скамье подсудимых. – Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

– Товарищ блондин! – плакал истомленный Коротков, – застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

– Черт с ним! – загремел блондин, – черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

– Надевай! – грохнул блондин в тумане.

– И-и-и-и, – тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

– Валерьянки! – крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

– Теперь одно спасение – к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки неясно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

– Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть...

## 10. СТРАШНЫЙ ДЫРКИН

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

– И чудесно. Вот я вас и арестую.

– Меня нельзя арестовать, – ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, – потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

– Арестуй-ка, – пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, – как ты

арестуешь, ежели вместо документов – фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

– Господи Иисусе, – сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

– Кальсонер не попадался? – отрывисто спросил Коротков и оглянулся. – Отвечай, толстун.

– Никак нет, – ответил толстяк, меняя желтую окраску на серенькую.

– Как же теперь быть? А?

– К Дыркину, не иначе, – пролепетал толстяк, – к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходит. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

– Ладно, – ответил Коротков и залихватски сплюнул, – нам теперь все равно. Подымай!

– Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, – нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

– Куда ты? Стой!

– Не бей, дяденька, – сказал толстяк, съежившись и закрыв голову руками, – к самому Дыркину.

– Проходи, – крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

– Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обстав-

ленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

– М-молчать!.. – хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбкавыми морщинами.

– А-а! – вскричал он сладко. – Артур Артурыч. Наше вам.

– Слушай, Дыркин, – заговорил юноша металлическим голосом, – ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

– Я?.. – забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка, – я, Артур Дикта-турыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

– Ах ты, мерзавец, мерзавец, – раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

– То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, – внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

– Вот, молодой человек, – горько усмехнувшись, сказал

добрый и униженный Дыркин, – вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один – по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

– Ку-ку! – радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

– Ку-клукс-клан! – закричала она и превратилась в лысую голову. – Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

## 11. ПАРФОРСНОЕ КИНО И БЕЗДНА

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лест-

нице побежали в таком порядке: первым – черный цилиндр толстяка, за ним – белый исходящий петух, за петухом – канделябр, пролетевший в вершке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

– Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

– Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

– Артельщики бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные, сиплые крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

– Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился

к гиганту – одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу – стеклянная вывеска с надписью «**RESTORAN I PIVO**» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

– Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

– Садись, дядя. Садись! – проревел он. – Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас вниз, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

– Деньги покрал, дяденька? – с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

– Кальсонера... атакуем... – задыхаясь, отвечал Коротков, – да он в наступление перешел...

– Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, – посоветовал мальчишка, – там на крыше отсидишься, если с маузером.

– Давай наверх... – согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

– Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку – стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» – вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. словно по сигналу игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней – третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбе-

жавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

– Сдавайся! – смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

– Окружили! – ахнул Коротков. – Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхва-

тить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетером в руках.

– Сдавайся! – завывало спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

– Кончено, – слабо прокричал Коротков, – кончено! Бой проигран. Та-та-та! – запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

– Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

## ВОСПОМИНАНИЕ

У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок – низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, – и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины – 12 выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара – и я жив.

Но расскажу все по порядку.

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое

имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот:

– Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: так же давали крупу и так же жалованье платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было 5 знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза – на стульях и один раз – на газовой плите. А на

шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, – это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

– Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопылив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.

– Пожалуйста, пропишите меня, – говорил я, – ведь

хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

– Нет, – отвечал председатель, – не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

– Но где же мне жить, – спрашивал я, – где? Нельзя мне жить на бульваре.

– Это меня не касается, – отвечал председатель.

– Вылетайте, как пробка! – кричали железными головами сообщники председателя.

– Я не пробка... я не пробка, – бормотал я в отчаянии, – куда же я вылечу? Я – человек. Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что, если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

– Вылетайте, как пробка.

Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге

света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

– Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

– Так... так... так... – отвечал Ленин.

Потом он звонил.

– Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:

– Я больше не буду.

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.

– Вы не дойдете до него, голубчик, – сочувственно сказал мне заведующий.

– Ну так я дойду до Надежды Константиновны, – отвечал я в отчаянии, мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду.

И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

– Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

– Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совмест-

ного жительство. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

"Прошу дать ордер на совместное жительство".

И подписала: Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

– Как? – вскричали все. – Вы еще тут?

– Вылета...

– Как пробка? – зловеще спросил я. – Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался:

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

– Улья?.. – спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

– Иван Иванович, – расслабленно молвил барашковый председатель, – выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения – лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним – в тоске и отчаянье седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

# ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

*Поэма в двух пунктах с прологом и эпилогом*

*– Держи, держи, дурак! – кричал Чичиков Селифану.*

*– Вот я тебя палашиом! – кричал скакавший навстречу фельдъегерь, с усами в ариин. – Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.*

## ПРОЛОГ

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-Сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фитинья...

А самым последним тронулся он – Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие – тому следуют пункты.

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Го-голя:

– Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обеими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнают, что я – Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по прежнему: из щелей выглядывали тараканы и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие N такой-то» и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

– Комнату!

– Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

– Управляющего!

Трах! Управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело наладилось в миг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем бог послал, и полетел устраиваться на службу.

Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

– Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал всю анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

– Ну, – подумал, – прочитают сейчас, что за сокровище, и...

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых попала она в руки барышни регистраторши, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки де выдают, и слышит:

– Знаю я вас, Скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую, мне хоть са-

харом облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул – Собакевич!

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой – дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Сlopал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как пред-

ложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков» и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижухев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

#### 4

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени появились у него пятьсот апельсинов капитала.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули – выгода, действительно, выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу и называется Пампушь на Твербуле.

Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

– Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени полетел куда следует:

– Аванс пожалте.

– Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

– За заведующего – Неуважай-Корыто, за секретаря – Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии – Елизавета Воробей.

– Верно. Получите ордер.

Кассир только крякнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

– Пожалте под товарную ссуду.

– Покажите товары.

– Сделайте одолжение. Агента позвольте.

– Дать агента.

Тьфу! И агент знакомый: ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привел в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян – лежит несметное количество продуктов.

– М-да... И все ваше?

– Все мое.

– Ну, – говорит Емельян, – поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик.

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь:

– Видишь, – говорит, – автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает.

– Видишь магазины? Так это все его магазины. Все что по эту сторону улицы – все его. А что по ту сторону – тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?... Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

– Верю! Вижу... Только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

– Ну что?

Емельян только рукой махнул:

– Это говорит неопишимо!

– Ну раз неопишимо – выдать ему N+1 миллиардов.

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружи-

тельный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой издохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести: он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а на счет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков – трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спец. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

## 6

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик, и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молния.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков, и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой злоеющее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания, комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в наркомздрав, наркомздрав в главкустпром, главкустпром в наркомпрос, наркомпрос в пролеткульт, и т.д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие, и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему то не расстреляли. На вопрос: не делал ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делал и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: Как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру на Марьиной Роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда

нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда Гоголя он тоже как и все и в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он воскликнул:

– А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

– Кто?

Он произнес гробовым голосом:

– Мошенник.

## 7

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу – нету. К регистраторше.

– Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

– Где?

– Не мое дело. Спросите у секретаря и т. д. и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг – она.

Стали читать и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому – неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмокни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

– Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

– Чрезвычайное происшествие!

– Ну!

– Никакого предприятия там нету, это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а «Ара».

Тут все взвыли:

– Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича, ловить его надо!

И стали ловить.

Пальцем в кнопку ткнули:

– Курьера.

Отворилась дверь и предстал Петрушка. Он от Чичи-

кова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

– Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

– Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

– Машину срочно.

– Чичас.

Селифан востолбенел, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной трети времени выбрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем: «Спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

Уволить обоих к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки – Плюшкинского Прошку, на место Селифана – Григория Доезжай-Не-Доедешь.

А дело тем временем кипело дальше!

– Авансовую ведомость!

– Извольте.

– Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца

два тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло!

Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавгоротдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворота направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворота налево, нашли нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша Подточина, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только Чичиковского адреса, но и своего собственного.

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий ротозей Емельян и беспартийный вор Антошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам и дело о подложных счетах за разъезды.

(По одному ему оказалось замешано до 50000 лиц) и проч. и проч. Словом, началось черт знает что. И те у кого миллиарды из-под носа выписали и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе и перед глазами был только один непреложный факт:

– Миллиарды были и исчезли.

Наконец встал какой-то дядя Митяй и сказал:

– Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

– Поручите мне.

Изумились:

– А вы... того... сумеете?

А я:

– Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

– Поручить.

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!) Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

– Не угодно ли чего?

А я им:

– Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

– Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

– Так что подать невозможно... телефон сломался.

– А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

– Помилуйте-с... что вы-с... сию... хе-хе... минутку... эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят.

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

– Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова – регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева – машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер утешительный? Взять!! И того, что их назначил – тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение!

Ноздрева в подвал... в минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

– Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

– Чичикова мне сюда!!

– Н... н... невозможно сыскать. Они скрымшись...

– Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место.

– Помил...

– Молчать!!

– Сию минуточку... сию... повремените секундочку.

Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

– Мать?! – гремел я, – мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

– Все?

– Все-с.

– Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

– Чисто.

А мне в ответ:

– Спасибо. Просите, чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все смутные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...» Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

– Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, какие сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул:

– Ура!

И...

## ЭПИЛОГ

...Конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное Гоголя...

– Э-хе-хе, – подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

## ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и Бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

– Иона Васильич! А, Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворающая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

– Аль зубы? – сострадательно прошамкал Иона.

– Зу-убы... – вздохнуло белое.

– У... у... у... вот она, история, – пособолезновал Иона, – беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке – как рукой снимет.

– Иона... Иона Васильич, – слабо сказала Татьяна Михайловна, – день-то показательный – среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

– Ну, что ж... Велика мудрость. Пушай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное – чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать – кому? Нам. Картину – ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

– Дуняша с вами пойдет – сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

– Ладно, ладно. А вы – пометом. Доктора – у них сейчас

рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

– Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

<p><b>УСАДЬБА-МУЗЕЙ</b> <b>ХАНСКАЯ СТАВКА</b> Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 час. веч.</p>
---

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные – правая толще левой, и обе разрисованы на голених узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и бородака подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл – истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, – злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, – принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

– Ноги о половичок вытирайте, – сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» – и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидели пройденный провал лестницы, и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетаая куда-то, вились и розовели амуры.

– Смотри, смотри, Верочка, – зашептала толстая мать, – видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

– Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

– Какой Растрелли? – отозвался Иона, тихонько кашлянув. – Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему

небесное, полтора ста лет назад. Вот как, – он вздохнул. – Пра-пра-прадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

– Вы не понимаете, очевидно, – ответил голый, – при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава Богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

– Руководительша, – начал Иона и засопел от ненависти к голому, – с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия – это вы верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

– Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

– Бросьте, товарищ Антонов, – примирительно сказал в толпе девичий голос.

– Семен Иванович, оставь, пускай! – прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями сверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи.

Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нелепых облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

– Кто паркет делал?

– Крепостные крестьяне, – ответил неприязненно Иона, – наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

– Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунейдцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости Господи», – вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый<sup>142</sup>, с четырехугольными звездами

---

<sup>142</sup> Юный курносый... с ненавистью глядел на свою мать. – Речь идет о будущем императоре Павле I.

на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел во тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник – повелитель Малой орды хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди<sup>143</sup>, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы – ослепительной красавицы и жуткой Мессалины<sup>144</sup>. В сыром тумане славного и страшного рода на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал<sup>145</sup>, портрет которого висел в каби-

---

<sup>143</sup> ...с шифром на груди... – Шифр – знак фрейлины императрицы.

<sup>144</sup> ...жуткой Мессалины. – Мессалина – третья жена римского императора Клавдия (10 г. до н. э. – 54 г. н. э.), известная своим коварством и развратом. Имя ее стало символом распутства.

<sup>145</sup> ...белолосинный генерал... – Имеется в виду император Николай I. Лосины – панталоны из лосиной кожи – были частью военной формы в отдельных полках русской

нете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

– Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

– Это Бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

– Любовница Николая Палкина, – продолжал голый, поправляя пенсне, – о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла – уму непостижимо. Ни одного не было смазливового парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами<sup>146</sup>, палаша-

армии.

---

<sup>146</sup> ...с эспантонами, палашами... – Эспантон – копьё с длинным наконечником, служившее почетным оружием офицеров русской армии в XVIII в.

ми<sup>147</sup>, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов<sup>148</sup>, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями – группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканые сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игровой, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

– Это кто же такой?

– Последний князь, – вздохнув, ответил Иона, – Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в квалегардах служили.

– А где он теперь? Умер? – почтительно спросила дама.

---

<sup>147</sup> *Палаши* – прямая сабля, рубящее и колющее ручное оружие тяжелой кавалерии.

<sup>148</sup> ...со шлемами кавалергардов... – Кавалергарды – особые, привилегированные воинские части в русской армии (гвардии). Первоначально (с 1724 г.) – императорская стража, с 1800 г. – полки гвардейской тяжелой кавалерии.

– Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, – Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

– Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заткнулся.

– Как? Жив? – изумилась дама. – Это замечательно!.. А дети у него есть?

– Деток нету, – ответил Иона печально, – не благословил Господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

– Классный старик... – восхищенно шепнул кто-то.

– Его самого бы в музей, – проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте – княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от

присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы – гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз – на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они слышались со стороны бильярдной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у

старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилося часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда! – мелькнуло в голове у старика. – Вот оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

– Что вы? Господин? – в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. – Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи Боже мой... – Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

– Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

– Один... – переведя дух, молвил Иона. – Да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

– Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

– Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

– Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради, – бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо, – услышать может кто-нибудь...

– Ба... батюшка, – судорожно прошептал Иона, – да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

– И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет! Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

– Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

– Ах, как ты подрыхлел, Иона, Боже, до чего ты старенький! – заговорил князь, волнуясь. – Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.

– Ну, полно, полно, перестань...

– Как... как же вы приехали, батюшка? – шмыгая носом, спрашивал Иона. – Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и борода... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

– Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

– Княгинюшка-то, Господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

– Умерла княгиня, умерла в прошлом году, – ответил он и задергал ртом, – в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом доньшке таял закат.

– Царствие небесное, царствие небесное, – дрожащим голосом пробормотал он, – панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

– Нету?

– Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

– Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

– В сам деле, ваше сиятельство, – он умоляюще поглядел на князя, – как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны – с правой.

– Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

– Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-а-родное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное – так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? – Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво закрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

– Цел-то цел кабинет, – бормотал Иона, – да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

– Кем запечатан?

– Эртус Александр Абрамович из комитета...

– Эртус? – картаво переспросил Тугай-Бег. – Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

– Из комитета он, батюшка, – виновато ответил Иона, – из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

– Ах, вот как! Библиотеку, – князь ощерился, – что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

– Хватит, ваше сиятельство, – растерянно хрипнул Иона, – ведь видимо-невидимо книг-то у нас. – Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съехался в кресле, поскреб подбородок

ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

– Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

– Этого Эртуса я повешу вон на той липе, – князь белой рукой указал в окно, – что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

– А рядышком, – продолжал Тугай нечистым голосом, – знаешь, кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов, – он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. – Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне, – Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками, – ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он

живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

– Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? – Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. – Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше, – князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

– Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, – у князя в руках очутился бумажник, – бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

– Ни за что не возьму, – прохрипел Иона и замахал руками.

– Бери! – строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в

карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. – Только смотри тут не меняй, а то пристанут – откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

– Печать-то, батюшка, – жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

– Вздор, – сказал Тугай, – ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

## Алекс. ЭРТУС

### История Ханской ставки

ниже:

**1922-1923.**

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громохнув креслами.

– У-у, проклятая собака, – проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

– Фу, – прошептал он, – с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

– Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие

люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек<sup>149</sup>. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

– Не может быть, – громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. – Это сон. – Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: – Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», – опять забормотал:

– По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я – тень? Но ведь я живу, – Тугай вопросительно посмотрел на Александра I, – я все ощущаю, чувствую.

---

<sup>149</sup> ...сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек.

– Свое критическое отношение к императору Николаю II Булгаков не скрывал, и оно сохранилось у писателя до конца жизни.

Ясно чувствую боль, но больше всего ярость, – Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам, – я жалею, что я не застрелил. Жалею. – Ярость начала кипеть в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репестир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

– Ах, Боже мой, – шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

– А т... чума! – хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со

стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

– Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

– Теперь надежно, – сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, бильярдную, прошел в черный

коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

## БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

*Роман товарища Жюль Верна*

*С французского языка на эзоповский переведено Михаилом  
Булгаковым*

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

#### Островитяне

Сиси-Бузи – царь всея мавров и эфиопов, самодержавный владыка острова до прибытия европейцев; огневодопоклонник (т.е. поклонник огненной воды, еще проще – алкаш).

Рики-Тики-Тави – главнокомандующий всеми вооруженными силами острова, фантастический ненавистник мавров, но огненной воде не враг.

Коку-Коки – или «пройдоха Коку-Коки», авантюрист, погrevший руки на стихийном бедствии и временно узурпировавший власть, но плохо кончивший.

Эфиопский парламентар – смутьян.

Рядовой солдат – мавр.

Эфиопы и мавры – войны, рыбаки, узники каменоломен и другие.

## **Европейцы**

1. Лорд Гленарван – известный аглицкий буржуй, акула британского империализма, выведенная на чистую воду товарищем Жюль-Верном.

2. Мишель Ардан – известный французский буржуй, союзник и конкурент лорда Гленарвана в деле ограбления цветных народов. Акула французского империализма.

3. Собственный корреспондент американской «Нью-Йорк Таймс» на острове. Истории известно, что он является жертвой тропического триппера. Кроме этого, ничего больше о нем истории не известно.

4. Капитан Гаттерас – оголтелый колонизатор на службе у лорда Гленарвана; за систематическую пьянку в служебное время и халатность разжалован лордом в рядовые канониры (пушкари). С горя стал пить еще больше.

5. Филеас Фогг – еще один прислужник лорда, такая же зараза, если не хуже.

6. Профессор Жак Паганель – ученый холуй французских колонизаторов, сиречь Мишеля Ардана и компании. Близорук, в очках, рассеянный паразит с подозрной трубой под мышкой. Пить, правда не пил, а что толку?

Матросы, солдаты, надсмотрщики и другие.

Действие происходит в первой половине XX века.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

### 1. История с географией

В безбрежных просторах океана, который, – вероятно, за его постоянные штормы и волнения, – весьма остроумно был назван некими шутниками Тихим, под ... градусов широты и ... долготы находился большой необитаемый остров. Время шло, и остров постепенно был заселен и освоен прославленными, родственными друг другу племенами – красными эфиопами, так называемыми белыми маврами, и еще маврами некоего неопределенного цвета, не то черного с желтизной, не то желтого с чернотой. Впрочем, пьяные матросы с изредка забредавших сюда судов отнюдь не утруждали себя излишне скрупулезным различением всех тонкостей туземной окраски и всех подряд островитян называли попросту черно...ыми.

Когда знаменитый мореплаватель, лорд Гленарван, на своем корабле «Надежда» впервые причалил к острову, то он открыл, что здесь господствует довольно своеобразный социальный строй. Несмотря на то, что красные эфиопы десятикратно превосходили своим числом белых и разноцветных мавров, вся полнота власти на острове была в руках исключительно этих последних. На троне, воздвигнутом под сенью пальм, восседал царственный властелин острова Сиси-Бузи в роскошном наряде из рыбьих костей и консервных банок. После него занимали почетные места – верховный главнокомандующий Рики-Тики-Тави и главный жрец всея мавров и эфиопов.

Их охраняла отборная, вооруженная увесистыми ду-

бинками, лейб-гвардия, набранная из самых разноцветных мавров.

Красные же эфиопы смиренно обрабатывали маисовые поля, принадлежащие белым маврам, ловили для них, а так же для разноцветных мавров рыбу и собирали черепаши яйца.

Лорд Гленарван незамедлительно приступил к совершению известной процедуры, каковую он производил всегда и везде, где бы не появлялся: водрузил на вершине горы британский флаг и на своем прекрасном английском языке с оксфордским произношением торжественно изрек:

– Отныне этот остров принадлежит британской короне!

Однако, тут произошло досадное недоразумение. Эфиопы, которые не владели никакими языками, кроме своего собственного, и в силу этой невежественности ни черта не поняли из английской речи благородного лорда, с радостными воплями обступили имперский флаг. Островитян привела в восторг его прекрасная ткань и они, разорвав флаг на множество кусков, тотчас начали сооружать себе из них красивые набедренные повязки. В наказание за подобное святотатство матросы, по приказу лорда, схватили осквернителей, разложили под пальмами, содрали у них с бедер злосчастные повязки и нещадно выпороли.

Так состоялось первое приобщение темных эфиопов к цивилизации, после чего лорду пришлось вступать в непосредственные переговоры с самим Сиси-Бузи. Его высочество нахально заявил благородному лорду, что остров принадлежит ему, Сиси-Бузи, и никакого флага не надо.

В ходе переговоров выяснилось, что еще до прибытия к

этим берегам лорда Гленарвана, остров открыли уже дважды. Сначала здесь побывали немцы, а затем еще и другие, которые ели лягушек. И в доказательство своих слов Сиси-Бузи указал на красовавшееся на его шее ожерелье из консервных банок. В заключение его царское величество дипломатично выразить весьма тонкую мысль:

– Огненная вода – это очень вкусно, да!

– Вижу, вижу, что вы уже успели об этом пронюхать, собачьи дети, – с оксфордской изысканностью буркнул себе под нос благородный лорд и, хлопнув по-приятельски Сиси-Бузи по плечу, великодушно дозволил ему считать сей чудный островок по-прежнему его собственностью. Что же касается британского флага, то договорились, что он тоже останется висеть на верхушке горы, – он ведь там никому не мешает. А в остальном все остается без изменений, так как и было раньше. После этого начался товарообмен. Матросы извлекли из трюмов стеклянные бусы, банки залежалых сардин, сахарин и бутылки с огненной водой. Эфиопы же с ликованием вытащили к берегу целые горы бобровых мехов, слоновой кости, рыбы, черепаших яиц и жемчуга.

Сиси-Бузи забрал всю огненную воду себе, сардины тоже, а стеклянные бусы и сахарин милостиво уступил эфиопам.

С этого момента наладились регулярные сношения острова с цивилизованным миром. В бухте то и дело причаливали теперь корабли, с них выгружали на берег английские «драгоценности», а на борт принимали эфиопские «безделушки». На острове поселился собственный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в белых штанах и с

неизменной трубкой в зубах, который вскоре заболел здесь тропическим триппером. По совету местных эфиопских медиков корреспондент лечил свою хворобу водным раствором спирта, изготовленным по особому рецепту: две капли воды на стакан спирта. Эта микстура в какой-то степени облегчала мучения страдальца.

В мореходные атласы мира сей райский уголок был занесен под названием Острова Эфиопов.

## **2. Сиси-Бузи пьет огненную воду**

Жизнь на острове очень быстро достигла небывалого расцвета. Главный жрец, верховный главнокомандующий и сам Сиси-Бузи буквально купались в огненной воде. Физиономия Сиси-Бузи вспухла и блестела как лакированная. Восхищенная гвардия мавров, украшенных стеклянными бусами, окружала его шатер сплошной стеной.

На проплывающие мимо корабли с острова частенько доносились оглушительные вопли:

– Да здравствует наш великий вождь Сиси-Бузи! Да здравствует наш главный жрец! Ура! Ура!!!

Это орали пьяные мавры, особенно старались наиболее цветастые из них.

А у эфиопов царило глухое молчание. Поскольку бедняги не получили доступа к огненной воде и были лишены права участия в священнодействиях с нею, вместо чего им вменялось в обязанность лишь работать, пока не протянут свои ноги, то в их рядах стало нарастать возмутительное недовольство. Нашлись, как в подобных случаях водится, и всякие зловредные подстрекатели-агитаторы. Подзужив-

ваемые ими эфиопы, наконец, уже громко возроптали:

– Братья, да где же справедливость на этом свете? Разве это по божьему закону деется – всю водку зажилили себе мавры, все шикарные бусы тоже только для мавров, а для нас только этот занюханный сахарин? И после этого мы еще работай?

Как и следовало ожидать, все это кончилось для оппозиции большими неприятностями. Едва узнав о начавшемся брожении умов, Сиси-Бузи, не мешкая, направил к эфиопским вигвамам карательную экспедицию, которая под предводительством верховного главнокомандующего доблестного Рики-Тики-Тави привела, как выражался Сиси-Бузи, всех смутьянов к общему знаменателю. А там, где еще вчера сияли блеском королевские вигвамы, сегодня громоздились только бесформенные руины.

Когда поголовная порка окончилась, раскаявшиеся эфиопы, низко кланяясь, благодарили за науку и в один голос повторяли:

– Сами роптать больше не будем и детям своим закажем!

Так на острове снова были восстановлены мир и процветание.

### **3. Катастрофа**

Вигвамы Сиси-Бузи и главного жреца стояли в наиболее живописной части острова, у подножия потухшего триста лет тому назад старого вулкана.

Но однажды ночью вулкан вдруг, совершенно неожиданно, проснулся и сейсмографы в далеком Пулкове и Гринвиче зарегистрировали ужасное сотрясение.

Над огнедышащей горой взметнулся в небо высокий столб дыма и пламени, затем градом посыпались камни, и, наконец, подобно клокочущему кипятку из самовара, хлынула раскаленная лава.

К утру все было кончено.

Объятые ужасом эфиопы узнали, что они остались без своего обожаемого монарха и без главного жреца. Судьба сохранила им лишь верховного главнокомандующего, доблестного Рики-Тики-Тави. А там, где еще вчера сияли блеском королевские вигвамы, сегодня громоздились только бесформенные груды постепенно застывшей лавы.

#### **4. Гениальный Коку-Коки**

Вся стихийно собравшаяся после катастрофы толпа уцелевших островитян в первый момент была как громом поражена, все стояли оцепеневшие. Но уже в следующий момент в головах эфиопов и немногих оставшихся в живых мавров зародился естественный вопрос:

– Что же теперь дальше? Как быть?

Вопрос породил брожение. Гул голосов, вначале неясный и едва слышный, стал нарастать все более и более, кое-где уже готова была начаться свалка. Неизвестно, к чему бы это привело, не случись тут новое удивительное явление. Над волнующейся толпой, выглядевшей словно алое маковое поле с редкими белыми и цветными вкраплениями, внезапно возникла сначала испитая физиономия с бегаящими глазками, а затем и вся тщедушная фигура известного на острове горького пьянчуги и бездельника Коку-Коки.

Эфиопы вторично остолбенели, словно громом трахнутые. Причиной тому был, прежде всего, необычный внешний вид Коку-Коки. Все от мала до велика привыкли видеть его либо отирающимся в бухте, где выгружались на берег заманчивая огненная вода, либо поблизости от вигвама Сиси-Бузи, где этот деликатес распивался. И всем было доподлинно известно, что Коку-Коки – природный цветной мавр высокой кондиции. Но теперь он предстал перед изумленными островитянами весь обмазанный красным суриком, с головы до пят покрытый эфиопским боевым узором. Даже самый опытный глаз не мог бы сейчас отличить этого вертлявого плута от любого обычного эфиопа.

Коку-Коки покачнулся на бочке сперва вправо, потом влево, разинул свою широкую пасть и громогласно изрек странные слова, которые восхищенный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» тотчас записал в свой блокнот:

– Отныне мы свободные эфиопы, объявляю всем благодарность!

Никто в толпе эфиопов не мог понять, почему и за что именно Коку-Коки объявлял им свою благодарность. Тем не менее вся огромная человеческая масса ответила ему изумительно громовым «ура!»

Это «ура!» в течение нескольких минут неистовствовало над островом, пока его не оборвал новый возглас Коку-Коки:

– А теперь, братья, ступайте приносить присягу!

Пришедшие в восторг от новой идеи эфиопы вразнобой загалдели:

– Так кому же мы будем теперь присягать?

И Коку-Коки величественно обронил:

– Мне!

На сей раз остолбенели от изумления мавры, но их замешательство было недолгим. Первым опомнился от оцепенения сам бывший главнокомандующий Рики-Тики-Тави.

– А ведь каналья прав! – воскликнул он. – Это как раз то, что нам сейчас нужно. Пройдоха попал в самое яблочко! – и подал пример, первым же низко склонился над новым вождем народа.

Мавры подхватили Коку-Коки на руки и высоко подняли его над толпой.

Целую ночь по всему острову ярко пылали веселые огни, бросая отблески в высокое небо. Вокруг них повсюду плясали ликующие эфиопы, празднуя установленные свободы. Они совершенно опьянели от радости и от огненной воды, каковую щедрый Коку-Коки повелел выдавать всем без ограничения.

Радисты проплывавших мимо кораблей встревоженно шарили в эфире, тщетно пытаясь уловить какую-либо весть с острова. На кораблях собирались уже было на всякий случай для порядка хорошенько обстрелять остров, но тут весь цивилизованный мир успокоился радиogramмой, поступившей, наконец, от специального корреспондента «Нью-Йорк Таймс».

«Большой сабантуй. Точка. Болваны на острове празднуют национальный праздник байрам. Точка. Пройдоха оказался гениален. Точка».

## 5. Мятеж

События, меж тем, развивались стремительно и, в результате, политическая обстановка на острове очень скоро вновь стала крайне напряженной. Еще в первый день своего правления Коку-Коки, стремясь угодить эфиопам, переименовал остров в Красный или Багровый в честь эфиопской красной расцветки. Но эфиопы оказались равнодушны к славе и на них не произвело никакого впечатления переименование, зато оно вызвало недовольство среди мавров.

На другой день Коку-Коки решил угодить маврам и официально утвердил одного из них, а именно того же Рики-Тики-Тави, во вновь восстановленной должности верховного главнокомандующего. Однако, маврам он отнюдь не угодил этим, а лишь вызвал у них зависть и склоку, поскольку каждый из них сам был бы не прочь заполучить такую должность. А эфиопскую общественность возмутил уже сам факт возвышения одного из мавров.

Тогда на третий день наш герой принял решение угодить самому себе, соорудив с этой целью из пустых консервных банок новый персональный головной убор и водрузил его на свою голову. Получилось очень красиво и как две капли воды походило на царскую корону незабвенного Сиси-Бузи. Но эта акция вызвала уже всеобщую оппозицию: мавры были убеждены, что лишь кто-либо из них может быть достоин такой короны, а эфиопы, будучи к тому же деморализованы обильным употреблением огненной воды, выступали против короны вообще, усматривая в этом реставрацию монархии. Недаром у них до сих

пор начинали чесаться спины при одном воспоминании о том, как покойный Сиси-Бузи, по его любимому выражению, «приводил их к общему знаменателю».

Тем не менее, пока огненной воды хватало, никакие оппозиции и фракции не могли всерьез поколебать авторитет вождя. Вспомним, что когда островитяне приносили ему присягу, Коку-Коки торжественно провозгласил основной программный принцип нового строя: «Огненную воду каждому по потребности!» Поэтому главной задачей и венцом государственной деятельности Коку-Коки являлось – обеспечить страждущих огненной водой. И вот тут-то он и провалился, так как оказался не в состоянии выполнить намеченную программу. Объяснялось это очень просто: если теперь огненную воду могли получить все по потребности, то потребности эти все росли и росли и оказались ненасытными, но откуда же пополнять запасы? Чтобы найти выход из надвигающегося кризиса, Коку-Коки приказал перегнать на огненную воду весь годовой урожай маиса. Но и этого хватило ненадолго и в то же время это мероприятие ударило по желудкам как эфиопов, так и мавров: урожай пропили быстро, и если мавры кое-что сохраняли еще в запасе, то эфиопам вскоре уже нечего было ни пить, ни есть, кроме дождевой воды и лесных кокосов. В стране бурно росло всеобщее негодование и политическая обстановка обострилась до предела. Авторитет правителя рухнул и сам он отныне укрывался от разъяренных соотечественников в своем вигваме, где отлеживался в полном бездействии.

И вот в один прекрасный день в вигваме верховного главнокомандующего Рики-Тики-Тави неожиданно по-

явился некий эфиопский посланец с коварно бегающими глазками подстрекателя и смутьяна. Командарм в это время как раз был занят важным делом и не расположен к аудиенциям: он пил огненную воду и с хрустом загрызал ее жареным молочным поросенком.

– Чего тебе, эфиопская морда, здесь надо? – с досадой спросил он, отрываясь от своего занятия.

Эфиоп пропустил комплимент в свой адрес мимо ушей и сразу приступил к сути.

– Ну как же это так, – начал он свою демагогию. – Так дело не пойдет. Для вас, значит, водка и поросятина, а для нас... Это что же получается – опять как при старом режиме?

– Ах, так... Поросятинки тебе тоже, говоришь, захотелось? – мрачно, но все еще сдерживая себя, спросил старый вояка.

– Ну, а как же? Ведь эфиопы тоже люди! – дерзко ответил эфиопский представитель, нахально переминаясь при этом с ноги на ногу.

Доблестный Рики-Ти́ки-Та́ви не мог далее вынести подобной наглости. Славный воин одним рывком ухватил за хрустящую ногу поросенка, развернулся и со всего размаху так двинул им в зубы незадачливому посетителю, что все кругом полетело: из поросенка брызнул и полетел во все стороны жир, изо рта у эфиопа – кровь, а из глаз его посыпались слезы вперемижку с зелеными искрами.

– Вон! – рявкнул командарм и на том окончил дискуссию.

Мы не знаем, что предпринял злополучный эфиопский смутьян, возвратившись к своим, но доподлинно известно,

что к вечеру весь багровый остров гудел, как потревоженный пчелиный улей. А ночью с проходившего мимо фрегата «Ченслер» внезапно увидели в районе южной бухты вздымавшееся в двух местах огненное зарево. И в эфир полетела с фрегата радиограмма:

«Огни на острове точка По всей вероятности эти эфиопские ослы опять загуляли точка Капитан Гаттерас».

Увы, brave капитан ошибся. То не праздничные огни горели. Это полыхали жарким пламенем вигвамы мятежных эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики-Тави.

На утро огненные столбы сменились одними дымами и было их теперь не два, а уже девять. На следующую ночь косматое пламя пожарищ свирепствовало уже в шестнадцати местах. Газеты Парижа и Лондона, Рима и Нью-Йорка, Берлина и других городов пестрели в эти дни крупными, кричащими заголовками:

– Что же происходит на Багровом Острове?

И тогда весь мир был ошеломлен зловещей телеграммой, поступившей, наконец, от известного своей оперативностью спецкора «Нью-Йорк Таймс»:

«Уже шестой день горят вигвамы мавров точка Огромные полчища эфиопов... (неразборчиво) Пройдоха Коку-Коки сдел... (далее неразборчиво)».

А днем позже мир был потрясен новой сенсационной телеграммой, которая поступила уже не с острова, а из одного из европейских портов:

«Эфиопы устроили грандиозный мятеж точка остров в огне точка вспыхнула эпидемия чумы точка горы трупов точка пятьсот авансу точка корреспондент».

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОСТРОВ В ОГНЕ

### 6. Таинственное каноэ

Прошло еще несколько дней. Когда вдруг – рассвет едва начал брезжить – часовые на европейском побережье заметили в предутренней мгле какое-то подозрительное движение и подали тревожный сигнал:

– Неизвестные корабли на горизонте!

Лорд Гленарван вооружился подзорной трубой и, выйдя вместе со всеми на берег, долго всматривался в приближавшиеся черные точки.

– Не могу понять, – промолвил наконец джентльмен, – но все это выглядит так, словно это каноэ дикарей.

– Гром и молния, – воскликнул Мишель Ардан, опуская свой бинокль, – ставлю вашингтонский доллар против измочаленного и рваного рубля выпуска 1923 года, что это мавры!

– Да, это так, – подтвердил профессор Паганель.

Когда каноэ подошли к берегу, оказалось, что Ардан и Паганель были правы.

– Что все это значит? – спросил вылезавших на берег мореходов благородный лорд, впервые в своей жизни испытывая крайнее удивление.

Вместо ответа неожиданные пришельцы разразились рыданиями. У них был настолько несчастный вид, что на них было жалко смотреть. Лишь после того, как мавры несколько пришли в себя и чуть-чуть отдышались, они оказались в состоянии рассказывать.

Из обрывочных, бессвязных слов этого жуткого рас-

сказа вставала ужасная картина событий на багровом острове. Полчища эфиопов... Проклятые подстрекатели разгитировали этих болванов и натравили их... Наглые требования: всех мавров – к черту!.. Снаряженная Рики-Тики-Тави карательная экспедиция разбита в пух... Пройдоха Коку-Коки сбежал первым на своем персональном каноэ... Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики-Тави, спасая собственную жизнь, вынуждены были погрузиться на эти утлые суденышки, пересекли океан и прибыли к своему старому знакомому – лорду, чтобы просить убежища.

– Сто сорок чертей и одна ведьма! – разразился хохотом Ардан. – Они хотят спрятаться в Европе. Скорее – о?

– А кто будет содержать и кормить всю эту братию? – ужаснулся Гленарван. – Нет, вы должны вернуться на свой остров.

– Ваше сиятельство, да ведь мы теперь даже носа туда сунуть не можем, – жалобно заныли мавры, – эфиопы всех нас поубивают. Да и крова мы лишились: наши вигвамы обращены в дым и пепел. Вот если бы послать на остров ваши вооруженные силы, чтобы расправиться с этой дрянью...

– Благодарю вас за предложение, – возразил им лорд с изысканной иронией, – нашли дураков. – Он достал из портфеля и показал маврам газету с телеграммой корреспондента. – У вас там во всю свирепствует эпидемия, а любой из моих матросов стоит больше, чем весь ваш паршивый остров.

– Ой, как верно вы изволили выразиться, ваше превосходительство, – угодливо залебезили перед Гленарва-

ном новоиспеченные иммигранты. – Известное дело, все мы и дерьма никакого не стоим. А что касается чумы, то мистер корреспондент описал все точно, как есть. Эпидемия разрастается и голод тоже...

– Так, так, – промолвил лорд после некоторого размышления. – Ну, что ж... Ладно. Будем посмотреть... – и он скомандовал беглецам:

– А ну, марш всем в карантин!

## **7. Иммигрантские страдания или гостеприимство по-джентльменски**

Никаким пером не описать тех неисчислимых мучений, что пережили горемычные мавры, будучи гостями благородного лорда. Уж чего только они не натерпелись! В иммиграционном карантине их, первым делом, промыли с головы до пят в крепком растворе карболки. До последних дней своей жизни никто из них не мог забыть эту едучую карболовую ванну! Затем всех их загнали в какую-то ограду, напоминающую загон для ослов, где бедняги и жили томительно долгое время. Карантинным властям было заботливо предписано установить несчастным беженцам продовольственное довольствие с таким расчетом, чтобы они не могли умереть с голоду. Но поскольку определить точную норму по такой методике было невозможно (тем более, что у каждого карантинного работника были свои родные и знакомые), то стоит ли удивляться, что за время пребывания в карантине добрая четверть мавров отдала богу свои души.

Когда, наконец, сочли, что иммигрантов уже в доста-

точной мере помариновали в карантинном загоне, лорд Гленарван столь же заботливо занялся их трудоустройством.

– Даром жрать наш хлеб эта банда не будет, – проворчал он и распорядился всех оставшихся в живых после карантина мавров отправить на работу в каменоломни вновь открытого гранитного карьера. Здесь они и трудились, повышая свою квалификацию под руководством опытных наставников, снабженных бичами из туго сплетенных буйволовых жил.

## **8. Мертвый остров**

Все корабли получили жесткий приказ – на пушечный выстрел не приближаться к острову, который был объявлен зоной карантина. Капитаны строго придерживались этого запрета. Ночами издали было видно иногда слабо мерцавшее на острове сияние, а днем порывы ветра порой доносили оттуда черный дым и стойкое зловоние. Трупный смрад стлался над голубыми волнами.

– Да, острову капут, – говорили между собой матросы, разглядывая в подзорные трубы коварные зеленые берега этого, некогда столь приветливого клочка земли.

Вести о положении на острове доходили и до мавров. Обратившись на лордовых харчах в бледные тени, они уже не ходили, а лишь семенили по своей каменоломне. Но теперь каждое новое известие о трагедии Красного Острова вселяло в них злорадное оживление.

– Так им, подлецам, и надо! Чтоб они передохли там, эфиопские скоты, все до одного! А когда они там попоко-

левают, мы снова возвратимся туда и овладеем своим островом. И этому пройдохе Коку-Коки, как поймает, то своими руками повыпускаем кишки одну за другой...

Лорд Гленарван хладнокровно продолжал сохранять невозмутимое молчание.

## 9. Засмоленная бутылка

Волны прибоя выплеснули ее на европейское побережье. Бутылку тщательно обработали карболкой и, в присутствии самого лорда, вскрыли. Внутри нашли бумажку, исписанную эфиопскими каракулями. Опытный переводчик, разобравшись с трудом в этой грамоте, вручил ее Гленарвану. Это был отчаянный призыв о помощи.

«Мы умираем от голода. Маленькие дети погибают. Чума все еще свирепствует. Разве мы не люди? Пришлите на остров хлеба! Ваши, любящие вас эфиопы».

Рики-Тики-Тави, узнав о бутылочной почте с острова, даже позеленел от злости и с воплем бросился к лорду.

– Ваша светлость, бога ради! Да пусть они там подыхают! Это после того, как они посмели бунтовать, их же еще и снабжать хлебом...

– Я отнюдь не намерен этого делать, – холодно возразил лорд и вытянул бывшего командарма хлыстом вдоль хребта, дабы он впредь не совался со своими непрошенными советами.

– Собственно говоря, это уже свинство, – процедил сквозь зубы Мишель Ардан, – можно было бы послать хоть немного маиса...

– Весьма благодарен вам за ваш совет, мсье, – сухо от-

резал Гленарван, а кто должен платить за это мне? И без того этот мавританский сброд скоро сожрет у нас все до крошки. Я бы рекомендовал вам, мсье, воздержаться впредь от подобных глупых советов.

– Вы так полагаете, сэр? – протянул француз, иронически прищуриваясь. – В таком случае вы меня чрезвычайно обяжете, если укажете удобное время вам для нашей встречи у барьера. И клянусь вам, мой дорогой сэр, что с двадцати шагов я влуплю пулю в ваш благородный лоб с той же точностью, как в Собор Парижской Богоматери.

– К моему сожалению, я не могу поздравить вас, мсье, если вы будете в двадцати шагах от меня, – отвечал лорд, – ибо тогда ваш вес увеличится как раз на вес той пули, которую я буду вынужден всадить вам в глаз.

Секундантом лорда на дуэли был сэр Филеас Фогг, секундантом Ардана – профессор Паганель. В результате вес Ардана остался без изменения. Выстрел же Ардана был результативней лордовского, только поразил он не лорда, а одного из мавров. Мавры засели в окружающих кустах и с любопытством наблюдали оттуда за ходом поединка двух благородных мужей. Пуля Ардана как раз и угодила точно между глаз одному из этих любопытных зрителей. Бедняга испустил дух, не приходя в сознание.

Мишель Ардан и лорд Гленарван обменялись рукопожатиями и оба джентльмена с достоинством разошлись.

А жертву дуэли по-быстрому закопали здесь же в кустах.

Так завершился сей драматический поединок, но история с засмоленной бутылкой имела неожиданное продолжение. Оказалось, что в каменоломнях далеко не все

разделяли взгляды Рики-Тики-Тави. Нашлись и свои смутьяны, которые совсем по-другому восприняли призыв с Красного Острова. В ближайшую же ночь пятьдесят мавров совершили дерзкий побег из карьера, сели в каноэ и покинули европейские берега, оставив лорду исключительное по своей наглости послание:

«Благодарим вас всех за карболку и за чутких наставников с их учебными пособиями из буйволовых жил. А ты, буржуй, проклятый лорд, еще попадешься нам, и тогда мы тебя еще не так поблагодарим. Уж мы тебе ноги из ж... повыдергиваем! А сейчас мы возвращаемся на наш остров, чтобы помириться и побрататься с эфиопами. Лучше на родине от чумы протянуть ноги, чем здесь издыхать от твоей протухшей солонины. С общим приветом – мавры».

Покидая европейские берега, мавры прихватили с собой в дорогу подозрную трубу, сломанный пулемет, сто банок сгущенного молока, шесть блестящих дверных ручек, выломанных заранее, десять револьверов и двух белых женщин.

Лорд Гленарван приказал выпороть подряд всех оставшихся мавров и аккуратно записал в свою записную книжку стоимость всех похищенных беглецами предметов.

## **10. Сенсационная депеша**

Прошло шесть лет. Изолированный карантин от всего мира остров был забыт. Проплывавшие время от времени мимо моряки видели в свои бинокли только пышно растущую зелень на пустынном побережье, отдельные скалы и развалины пожарищ вдали.

Семь лет необходимо было выждать для того, чтобы очаг эпидемии погас сам собой и остров вновь стал безопасен. К исходу седьмого года на остров должна была прибыть экспедиция, которая провела бы разведку и подготовила бы условия для обратного переселения мавров, чтобы вновь заселить и колонизировать эту землю. Сами же мавры, исхудавшие как скелеты, пока все так же томились в каменоломнях лорда Гленарвана.

Но в самом начале седьмого года цивилизованный мир вдруг был потрясен совершенно неожиданной сенсационной радиограммой. Радиостанции Америки, Англии и Франции приняли ночью депешу следующего содержания:

«Чума прошла. Благодарение богу живы и здоровы, чего и вам желаем. С уважением ваши эфиопы».

На следующее утро газеты Америки и Европы вышли под огромными заглавиями:

«Остров радирует! Тайнственная депеша! Живы ли на самом деле эфиопы?»

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки, — зарычал Мишель Ардан, узнав о содержании таинственной депеши с красного острова, — меня поражает не то, что они там выжили, а то, что они еще рассылают радиограммы. Уж не сам ли сатана соорудил для них радиопередатчик?

Известие с острова повергло лорда Гленарвана в глубокую задумчивость. А мавры были совершенно растеряны. Рики-Тики-Тави назойливо умолял лорда:

— Ваша милость, теперь остается только одно: прикажите, как можно скорее, отправить экспедицию, а то что же получается? Остров принадлежит ведь нам. Сколько мы еще будем здесь париться.

— Будем посмотреть, — отвечал, не спеша, лорд.

## 11. Капитан Гаттерас и таинственный баркас

В один прекрасный майский день на горизонте перед Багровым Островом возник дымок корабля и вскоре на рейде бросил якорь фрегат. Капитан Гаттерас по приказу лорда Гленарвана прибыл сюда на разведку. Ванты и реи корабля были усеяны матросами, с любопытством вглядывавшимися в берег. Их взорам открылась следующая картина: на спокойных водах колыбалась целая флотилия с иголочки новеньких, видимо, только что построенных, каноэ. Над этой легкой флотилией возвышался какой-то неизвестный, неведомо откуда взявшийся, баркас. В то же время разъяснилась и загадка радиogramм. Из изумрудной зелени тропического леса вздымалась вверх антенна примитивно сделанного радиоприемника.

— Тысяча чертей, — вскричал капитан, — эти болваны соорудили здесь какую-то кривую мельницу!

Матросы захохотали и наперебой стали отпускать шуточки по поводу этого нескладного детища эфиопской творческой мысли.

От корабля отвалила шлюпка и доставила капитана с несколькими матросами на берег.

Первое, что бросилось в глаза отважным мореплавателям и произвело на них сильное впечатление, это то, что повсюду виднелись огромные массы эфиопов. Остров, казалось, кишел ими. При том не только взрослые, но и огромные толпы подростков окружали капитана. У самого берега расположились с удочками целые гирлянды упитанных эфиопских малышей, непринужденно болтавших в воде своими толстыми ножками.

– Черт меня побери, – вне себя от изумления воскликнул капитан, – но похоже на то, чума капитально пошла им впрок! А эти карапузы выглядят так, словно их каждый день кормят геркулесовой кашей! Ну хорошо, посмотрим дальше...

Далее их весьма поразил старый баркас, стоявший у берега в бухте. Опытному моряку достаточно было одного лишь взгляда на это суденышко, чтобы убедиться в том, что баркас строился на одной из европейских верфей.

– Это мне не нравится, – процедил Гаттерас сквозь зубы, – если только они не украли где-нибудь эту дырявую калошу, то, значит, какая-то каналья во время карантина тайно посещала остров и сумела установить связи с этими обезьянами. Ох, сдается мне, что баркас не иначе, как германский! – И обернувшись к эфиопам, громко спросил: – Эй, вы, краснокожие черти! Где это вы сперли вон ту посудину?

Эфиопы ответили лукавыми ухмылками, показывая при этом свои белые, как жемчуг, зубы. Но беседовать на эту тему они явно не желали.

– Что, вы не хотите отвечать? – капитан нахмурился. – Ладно, сейчас я сделаю вас более разговорчивыми.

С этими словами он решительно направился к баркасу, но эфиопы решительно преградили ему и матросам путь.

– Прочь с дороги! – прорычал капитан, привычным движением хватаясь за задний карман, отягощенный увесистым кольцом.

Но эфиопы и не думали уступать. В мгновение ока Гаттерас и его матросы были зажаты в плотной толпе. Шея капитана густо побагровела. И тут как раз он заметил в

толпе одного из тех мавров, что столь дерзко сбежали в свое время из каменоломни.

– Смотрите-ка, старый знакомый! – воскликнул Гаттерас. – Ага, теперь знаю, что здесь подстрекатели. А ну, иди-ка сюда, грязная образина!

Но грязная образина даже не шевельнулась в ответ, а только нагло прокричала:

– Моя не пойдет!

Взбешенный капитан Гаттерас с проклятиями озирался вокруг и его фиолетовая, налившаяся кровью шея составляла красивый контраст с белыми полями пробкового тропического шлема. В руках многих эфиопов он увидел теперь ружья, весьма напоминавшие карабины германского образца, а один из мавров был вооружен похищенным у лорда Гленарвана парабеллумом.

Лица матросов, обычно столь лихих и дерзких, сразу побледнели. Капитан бросил отчаянный взгляд на черно-синее небо, а затем на рейд, где вдали покачивался на волнах его фрегат. Оставшиеся на борту матросы спокойно прохаживались по палубе и явно не подозревали о грозной опасности, которой подвергнулся их капитан.

Гаттерас сделал над собой невероятное усилие и взял себя в руки. Шея его постепенно вновь приобрела нормальный цвет – угроза апоплексического удара на сей раз миновала.

– Пропустите меня обратно на мой корабль, – необыкновенно вежливо попросил он охрипшим голосом.

Эфиопы расступились, и капитан Гаттерас со своими матросами ретировались на корабль. Через час с рейда слышался грохот цепей поднимаемого якоря, а еще через

час на горизонте залитого солнцем моря было видно только маленькое облачко стремительно удалявшегося дыма.

Потрясенный пережитым, brave капитан всю обратную дорогу без просыпу пил горькую. На подходе к европейскому побережью он с пьяных глаз посадил свой фрегат на мель, за что и был снят суровым лордом с командования кораблем и разжалован в рядовые канониры.

## **12. Непобедимая армада**

В бараках мавров у каменного карьера происходило нечто неопишное. Они издавали потрясающие душу победные клики и буквально ходили на головах.

В этот день им целыми ведрами выдавали первоклассный золотисто-желтый бульон, от которого они не могли оторваться. Ни на ком больше не было видно прежних грязных лохмотьев, каждый получил красные ситцевые штаны, а также сурик для наведения боевой раскраски. Перед бараками возвышались составленные в пирамиды скорострельные винтовки и пулеметы.

Но Рики-Тики-Тави превосходил всех своим наиболее впечатляющим видом. В носу его блестели кольца, волосы на голове были украшены разноцветными перьями. Лицо сияло как у коверного рыжего на арене цирка. Он носился повсюду как шальной, без устали повторяя одно и то же:

– Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Ну, теперь вы у меня попляшете, мои милые! Еще немножко, и мы будем у вас. Эх, только бы до вас добраться!.. – он производил своими пальцами такое движение, словно вырывал у кого-то глаз.

– Становись! Смирно! Ура! – вопил он беспрерывно и носился взад и вперед перед строем своих отяжелевших от бульона красавцев.

В порту уже стояли под парами три броненосных крейсера, которые должны были принять на борт сформированные из иммигрантских вояк батальоны. В этот момент случилась непредвиденная заминка, приковавшая всеобщее внимание. Перед уже изготовившимся к посадке строем вдруг, откуда ни возьмись, возникла оборванная исхудалая фигура с коротко подстриженной головой. Озадаченные мавры, всмотревшись пристальнее в странную фигуру, неожиданно узнали в ней ни кого иного, как самого, бесследно исчезнувшего Коку-Коки. Да, это был он, собственной персоной! Бывший всемогущий диктатор багрового острова, пользовавшийся столь всеобщим и, увы, столь кратковременным обожанием своих соотечественников после бегства с острова, оказывается, скрывался инкогнито, покрытый рубищем, в толпе прочих беженцев или же слоняясь вокруг каменоломен. Как преходящая земная слава!

И теперь он имел наглость появиться перед строем мавров и с льстивой улыбочкой принялся канючить:

– Что же это, братья, меня вы уже совсем забыли, что ли? А ведь я такой же, как и вы, мавр. Возьмите меня с собой на остров, я вам еще пригожусь!..

Но до конца он не договорил. Рики-Тики-Тави, весь позеленев, рывком выхватил из-за пояса широкий, острый нож.

– Ваше преосвященство, – от волнения командарм никак не мог вспомнить подходящий титул, – Ваше... Ваше

премногоздравие, – дрожащими от ярости губами, наконец, выговорил он, обращаясь к лорду Гленарвану, – этот... да, вон тот, это же и есть тот самый Коку-Коки, из-за которого весь шурум-бурум, вся эта... ихняя эфиопская революция заварилась! Ваше блестящее сиятельство, дозвоьте, бога ради, я ему своими руками секир-башка сделаю!

– Это ваши внутренние дела, а мы в них не вмешиваемся. Впрочем, если это вам доставит удовольствие, пожалуйста, я не против, – добродушно, с отеческой лаской в голосе ответил ему лорд. – Только давай по-быстрому, чтобы не задерживать посадку на корабли.

– Моя шустро делать, – радостно вскричал главнокомандующий и Коку-Коки успел только чуть пискнуть, как Рики-Тики одним мастерским ударом раскроил ему горло от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан обошли торжественно весь строй и лорд произнес напутственную речь:

– Вперед, на усмирение эфиопов! Мы будем помогать огневой поддержкой нашей корабельной артиллерии. По завершению похода все получают денежное вознаграждение.

Грянул военный оркестр и под его бравурные звуки все доблестное воинство полезло на корабли.

### **13. Неожиданный финал**

И вот наступил долгожданный день, когда Красный Остров, словно чудесная жемчужина в океане, предстал перед взорами наших мореходов. Суда встали на якоря и высадили на берег отряды вооруженных до зубов мавров. Рики-Тики-Тави, преисполненный боевым духом, вы-

прыгнул первым на прибрежный песок и, размахивая саблей командовал:

– Орлы, за мной!

И мавры посыпались, вслед за ним, из десантных шлюпок на берег.

И тогда произошло следующее. По всему острову, словно из-под земли, поднимались навстречу непрошеным гостям вооруженные бойцы. Эфиопы решительно наступали сомкнутыми рядами. Их было так много, что зеленый от буйных тропических зарослей остров в мгновение ока превратился в действительно багровый, словно оправдывая свое название. Огромные массы надвигались на пришельцев со всех сторон и над этим красным океаном вздымался, колыхаясь, густой лес штыков и копий. И этот грозный океан отнюдь не представлял собою стихии, он был строго организован – то тут, то там виднелись в нем подобные буграм вкрапления – решительные командиры отдельных подразделений. В них без труда можно было опознать тех самых отчаянных беглецов, что столь дерзко ускользнули некогда из каменоломен лорда Гленарвана. Командиры мавры, как и их войны, все были в багровом эфиопском боевом снаряжении и грозно потрясали револьверами. По выражению их лиц и по жестам было ясно, что терять им нечего. Они ничего не хотели знать, кроме боевого призывного клича: «Вперед!» На что эфиопы столь же единодушно отвечали с таким ревом, что кровь стыла в жилах: «Вперед! Бей их, собачьих детей!»

И, когда противники, наконец, сошлись, то все увидели, что иммигрантская рать во главе с Рики-Тики-Тави не более, чем щуплый островок, захлестываемый со всех сторон бурлящим красным океаном.

– Клянусь рогами сатаны, – ужаснулся Мишель Ардан, стоявший вместе с лордом на флагманском мостике, – ничего подобного я никогда еще не видел!

– Да они в момент сбросят этих наших парней назад в море! – добавил сэр Филеас Фогг.

– Прикрыть немедленно наш десант заградительным артогнем! – приказал лорд Гленарван и вновь прильнул к линзам бинокля.

Капитан Гаттерас – ныне канонир на флагманском крейсере – тотчас повиновался и четырнадцатидюймовое орудие, извергая огонь, грозно гаркнуло. Но поскольку капитан фрегата успел уже с раннего утра основательно приложиться к фляжке с ромом, то эффект выстрела получился не совсем таким, на какой рассчитывали. Снаряд сделал значительный недолет и, вместо того, чтобы врезаться в густые эфиопские ряды, ударил аккуратно в стык обоих противников. Мощный взрыв разметал в клочья 25 эфиопов и 40 мавров. Второй выстрел оказался еще более эффектен: 50 эфиопов с одной стороны и 130 мавров лорда Гленарвана с другой стороны.

Третьего выстрела уже не последовало.

Лорд Гленарван, наблюдавший в бинокль изумительные результаты артиллерийской поддержки, которую оказывал его маврам храбрый капитан, изрыгнул такое проклятие, каких и не найдешь ни в одном, даже оксфордском словаре. Он швырнул на палубу свой бинокль, схватил, подбежав, Гаттераса за горло и оттолкнул его от пушки.

– Что вы делаете, пьяная скотина! – прорычал лорд, – вы же лупите по маврам, черт бы вас побрал! Я семь лет

дрессировал эту банду для своих целей, а вы мне ее за семь минут всю перебьете!

А бедняги-мавры в это время, получив от капитана Гаттераса два столь веселых гостинца, были охвачены небывалым смятением. Ряды их были поколеблены, отовсюду неслись стоны и проклятия. Жалобные стенания и ругательства слились в один сплошной рев.

Рычал и ревел, тщетно пытаясь перекрычать своих подчиненных, и сам Рики-Тики-Тави. Вокруг него все словно кипело в каком-то диком водовороте. Но вот из этого водоворота выделилось искаженное ненавистью лицо одного из рядовых воинов. Он подскочил к растерявшемуся командиру и с пеной у рта выкрикнул ему прямо в лицо:

– Ну что, докомандовался? Сначала ты заманил нас к лорду в гости и сдал всех ему в каменоломни. Там нас семь лет терзали, сколько там наших костей осталось? А теперь что? Хочешь и остальных угробить?! Впереди эфиопы, позади пушки!! Ааа-ах!

Он взмахнул своим ножом и уверенным движением всадил его обанкротившемуся вождю точно между пятым и шестым ребром слева.

– Помо... – со стоном выдавил из себя командарм, – ...гите! – Закончил он уже на том свете.

– Ура! – дружно воскликнули при виде этой сцены эфиопы.

– Мы сдаемся! Ура! Братья, мы заключаем мир! – вопили с энтузиазмом мавры, крутясь в бушующих волнах эфиопского приboя.

– Ура! – радостно отвечали эфиопы.

И все смешалось друг с другом в какую-то невообразимую кашу.

– О, холера, дьявол, гром и молния! – неистовствовал Мишель Ардан, не в силах оторваться от бинокля. – Пусть меня повесят на осине, если эти болваны там не мирятся!!! Смотрите же, сэр, они братаются друг с другом!

– Я вижу, – ледяным голосом ответил лорд. – Но мне хотелось бы знать, каким образом мы сможем теперь возместить все наши убытки по содержанию и прокормлению этой орды?

– Ах, послушайте-ка, дорогой сэр! – дружелюбно промолвил вдруг француз, – ничем вы не сможете здесь поживиться, кроме тропической лихорадки. И, вообще, я бы советовал вам, сэр, кончать всю эту волюнку и, не теряя времени сниматься с якоря... Поберегитесь! – Внезапно оборвал он себя на полуслове и резко пригнулся. Лорд машинально последовал примеру Ардана. И как раз вовремя – целая туча эфиопских стрел, вперемежку с мавританскими пулями, пронеслась прямо над их головами.

– Дайте им как следует! – проревел взбешенный лорд капитану Гаттерасу.

Гаттерас отбросил в сторону пустую уже фляжку из-под рома, бросился к орудию и пустил в осмелевших противников новый снаряд. Он разорвался с большим перелетом, мощным взрывом вышибло зубы у гревшегося на солнышке крокодила, а осколками, как бритвой, срезало хвосты у двух мартышек. А объединенное войско мавров и эфиопов ответило новой тучей стрел, которые оказались гораздо точнее нацеленными. На глазах у лорда семь матросов, скончавшись, рухнули на палубу и забились в су-

дорогах. Лица их стали медленно покрываться подозрительными пурпурно-красными пятнами.

– К черту с этой экспедицией! – загремел на мостике решительный голос Ардана. – Отчаливайте, сэр! Вы что, не видите – у этих парней отравленные стрелы! Или вы хотите приволочь с собой на хвосте чуму в Европу?

Благородный лорд, стиснув кулаки, разразился градом проклятий, которые мы совершенно не в состоянии здесь привести.

– Высыпать им еще на прощание! – прошипел он сквозь зубы Гаттерасу.

Вконец окосевший от рома и от всего пережитого, артиллерист Гаттерас сделал как попало несколько прощальных выстрелов, и корабли снялись с якорей. Выпущенная с берега вдогонку новая туча стрел уже не достигла спешно удиравшую армаду.

Спустя полчаса корабли экспедиции уже плыли в открытом море. В пенящейся за кормой воде плыли семь трупов отравленных и выброшенных за борт матросов.

А остров окутался туманной дымкой, постепенно скрывшей его изумрудно-зеленые берега.

## **14. Последнее прости**

Ночью тропическое небо над Красным Островом расцветилось, как никогда, многочисленными праздничными огнями. И с проходивших мимо кораблей полетели экстренные радиогаммы:

«На острове сабантуй небывалых масштабов точка По всему острову гонят шнапс из кокосовых орехов!»

Вслед за тем радиоантенны на Эйфелевой башне в Париже перехватили зеленые молнии, которые преобразились в аппаратах в слова неслыханной по своей дерзости телеграммы:

«Гленарвану и Ардану! Отмечая праздник нашего великого объединения, шлем с него вам, су... (неразборчиво) что мы на вас ложили... (непереводимая игра слов)... с проборм... (неразборчиво) с нашим к вам почтением эфиопы и мавры».

– Отключить аппаратуру! – взревел Мишель Ардан.

Станция онемела. Зеленые молнии погасли, и что было дальше – никто не знает.

# РОКОВЫЕ ЯЙЦА

## ГЛАВА 1

### Куррикулум витэ профессора Персикова

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толчком, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т.е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти никогда не говорил.

Газет профессор Персигов не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

*Невыносимую дрожь отворачивания возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них.*

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

– Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел за исключением профессоров Уильяма Векля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персигов не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11

с четвертью, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

– Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то пропались, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

– Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американского, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурке, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю – 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах:

– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? – спрашивал Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых га-

дов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

– Марксист, – угасая, отвечал зарезанный.

– Так вот, пожалуйста, осенью, – вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: – Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатэтажных домов, а на окраинах – 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919-1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадюк, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: «Еще к вопросу о размножении бляшконосых или хитонов», 126 стр., «Известия IV Университета».

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе и японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

## ГЛАВА 2

### Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая борода, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

– Владимир Ипатьевич, я установил брызжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросил кремальеру на полдороге и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

– Очень хорошо, – сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брызжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течении полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

– Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных белых амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень

много раз и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг настоярился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республике сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах – это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже слышался голос профессора. У кого он спросил – неизвестно.

– Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руку над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор

покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

– Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, – повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

– Угу, угу, – пробурчал он, – пропал. Понимаю. По-о-нимаю, – протянул он сумасшедше и вдохновенно, глядя на погасший шар над головой, – это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

– Я его поймаю, – торжественно и важно сказал он, поднимая палец вверх. – Поймаю. Может быть и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

– Панкрат, – сказал профессор, глядя на него поверх очков, – извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

– У-у-у, по-по-понял, – ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

– Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, – молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах.

– Кабинет я запер, – продолжал Персиков, – так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

– Слушаю-с, – прохрипел Панкрат.

– Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился в постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

– Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, – сказал ученый, – иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую

снял, а правую надел. – Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... – Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелой дверью. На крыльце он долго искал в карманах спички, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

– Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, – профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, – гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. – Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На старом автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяных и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

– Эх, папаша! – крикнула она низким сиповатым голосом. – Что ж ты другую-то калошу пропил!

– Видно, в Альказаре набрался старичок, – завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

– Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

### ГЛАВА 3

## Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный взгляд виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча и получилось вот что: в то время, как в диске вне луча зернистые амёбы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течении 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в

несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амёб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злостью и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амёб, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полужакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персигов самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персигов поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно

только от электрического света. – Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амёб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

– Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич! – говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. – Что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

– Я их наблюдаю уже третий день, – вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

– Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, – вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

– О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время, как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом

кабинете, комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел кривой, жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастика. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расплозились из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что шалест. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

– Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

– Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, – видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдал из себя слова: – профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

– Ну-ну-ну, – пробормотал он.

– Вы, – продолжал Иванов, – вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, – продолжал он страстно, – Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

– А, это роман, – ответил Персиков.

– Ну да, господи, известный же!..

– Я забыл его, – ответил Персиков, – помню, читал, но забыл.

– Как же вы не помните, да вы гляньте, – Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, – ведь это же чудовищно!

## ГЛАВА 4

### Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевернута и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

– «Певсиков», – проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете, – откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевернутая фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепную атласную визитную карточку.

– Он тамотко, – робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

## Альфред Аркадьевич Бронский

*Сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя газета»*

— Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся и вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из гепею, они говорят, — бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было написано кудрявым почерком:

*Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ.*

— Позови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядевшие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные

ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

– Что вам надо? – спросил Персигов таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. – Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

– Я занят, – сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неувимы.

– Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, заговорил молодой человек тонким голосом, – что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

– Какие такие объяснения по всему миру? – заныл Персигов визгливо и пожелтев. – Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

– Над чем вы работаете? – сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

– Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

– Да, – ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

– Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. – И Персигов вдруг почувствовал, что теряется.

– Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

– Какой такой новой жизни? – остервенился профессор,

– Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

– Во сколько раз? – торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

– Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

– Получаются гигантские организмы?

– Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величие, а невероятная скорость размножения, – сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

– Вы же не пишите! – уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. – Что вы такое пишете?

– Правда ли, что в течении двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастика?

– Из какого количества икры? – вновь взбеленясь, закричал Персиков. – Вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, – квакши?

– Из полуфунта? – не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

– Кто же так мерит? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда пожалуй... черт, ну около этого количества, а, может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

– Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

– Что это за газетный вопрос, – завыл Персиков, – и вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

– Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, – молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

– Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

– Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

– Панкрат! – закричал профессор в бешенстве.

– Честь имею кланяться, – сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата слышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыкала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

– Господин профессор, – начал незнакомец приятным сиповатым голосом, – простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

– Вы репортер? – спросил Персиков. – Панкрат!!

– Никак нет, господин профессор, – ответил толстяк, – позвольте представиться – капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при совете народных комиссаров.

– Панкрат!! – истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. – Панкрат! – повторил профессор. – Я слушаю.

– Ферцайен зи битте, герр профессор, – захрипел телефон по-немецки, – дас их штёре. Их бин митарбейтер дес Берлинер тагеблатс<sup>150</sup>...

– Панкрат, – закричал в трубку профессор, – бин менталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб этцт нихт эмфанген<sup>151</sup>! Панкрат!!

А на парадном входе института в это время начались звонки.

– Кошмарное убийство на Бронной улице!! – завывали неестественные сиплые голоса, вертась в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, – кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!.

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

---

<sup>150</sup> Извините меня, господин профессор, за беспокойство. Я сотрудник «Берлинер тагеблатс»... (искаж. нем.)

<sup>151</sup> В данный момент я очень занят и никак не могу принять Вас!.. (нем.)

– Три копейки, гражданин! – закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: – «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», гласила подпись под рисунком. Ниже под заголовком «Мировая загадка» начиналась статья словами:

*Садитесь, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...*

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! – завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! – Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною у Персикова и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

– Меня, господин профессор, вы не пожелали позна-

комить с результатами вашего изумительного открытия, – сказал он печально и глубоко вздохнул. – Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

– Я, – пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, – никакого садитесь ему не говорил! Это просто наглещ необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, – но, право же, когда работаешь и врываешься... Я не про вас, конечно, говорю...

– Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите? – заискивающе и скорбно говорил механический человек. – Ведь вам теперь все равно...

– Из полуфунта икры в течении 3-х дней вылупляется такое количество головастика, что их нет никакой возможности сосчитать, – ревел невидимка в рупоре.

– Ту-ту, – глухо кричали автомобили на Моховой.

– Го-го-го... Ишь ты, го-го-го – шуршала толпа, задирая головы.

– Каков мерзавец? А? – дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку, – как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

– Возмутительно! – согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло, – фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

– Это вас, господин профессор, – восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то заскрежетало.

– А ну их всех к черту! – тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. – Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

– Вы мне мешаете, – шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

– Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!! – кричали кругом в толпе.

– Никаких у меня детишек нету, сукины дети, – заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

– Крх... ту... крх... ту, – закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

## ГЛАВА 5

### Куриная история

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекольного уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоирея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

– Что ты, Степановна, али еще?

– Семнадцатая! – разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

– Ахти-х-ти-х, – заскулила и закачала головой бабья голова, – ведь это что ж такое? Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

– Да ты глянь, глянь, Матрена, – бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжело, – ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоирея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательное куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрена и вдовьяина глухая племянница. Налог с вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворе, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьяиними яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. «Эр... рр...

урл... урл го-го-го», – выделявала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясала член артели Матрешка с чашкой воды.

– Хохлаточка, миленькая... Цып-цып-цып... Испей водицы, – умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

– Господисусе! – вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. – Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья – председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

– Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где же это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

– Враги жизни моей! – воскликнула попадья к небу. – Что ж они со свету меня сжить хотят?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а

начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, повернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему отвело беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостя. — Зови отца Сергия, пущай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожеею между рожамы молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудями зачоченевшая птица.

На утро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На

Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец», в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

\* \* \*

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись:

*Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову.*

И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что такое? — искренне недоумевал ученый чудак. — Что с ними такое сделалось?

В 10 с четвертью того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии):

### **Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов.**

— Черт бы его взял, — прорычал Персигов, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне:

— Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персигов таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персигов пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», почему-то подумал Персигов.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел слишком поздно: «но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

– Да, я занят! – так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого:

– Время – деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

– Мур-мур-мур, – ответил Персиков. Он позволил...

– Профессор ведь открыл луч жизни?

– Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! – оживился Персиков.

– Ах, нет, хи-хи-хи... он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжело положение ученых в советской России. Антр ну суа ди<sup>152</sup>... Здесь никого нет посторонних?... Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство

---

<sup>152</sup> Между нами говоря... (фр.)

предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании. Государству известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м году и 20-м во время этой хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... И расписки не надо... Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

– Вон!!! – вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

– Его калоши?! – выл через минуту Персиков в передней.

– Они забыли, – отвечала дрожащая Марья Степановна.

– Выкинуть их вон!

– Куда же я их выкину. Они придут за ними.

– Сдать их в домовый кабинет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

– Сдали? – бушевал Персигов.

– Сдала.

– Расписку мне.

– Да, Владимир Ипатьевич. Да неграмотный же председатель!..

– Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской:

«Получено в фонд от проф. Персикова 1 /одна/ па кало. Колесов».

– А это что?

– Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?». Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

– Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

– Чай будете пить, Владимир Ипатьевич? – робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

– Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость вел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный стручками табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

– Да черт его знает, – бубнил Персиков, – ну противная физиономия. Дегенерат.

– А глаз у него не стеклянный? – спросил маленький хрипло.

– А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

– Рубинштейн? – вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

– Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, забурчал он, – это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой кон-

торы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами», — и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... Больше никто его не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только

хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.

— А это что за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо... — и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо достаточно известное звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он уедет из Москвы, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

– Здравствуйте, гражданин профессор.

– Что вам надо? – страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептал, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... Что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

– Гм... однако, у вас здорово поставлено дело, – промычал Персиков и прибавил наивно, – а что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

– Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, – неслоь из кабинета.

– Строг? – спрашивал котелок у Панкрата.

– У, не приведи бог, – отвечал Панкрат, – ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

– Владимир Ипатьич! – прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

– Пару минуточек, дорогой профессор, – заговорил Бронский, напрягая голос, с тротуара, – я только один вопрос и чисто зоологический. Позвольте предложить?

– Предложите, – лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

– Что вы скажете за кур, дорогой профессор? – крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

– Панкрат,пусти этого, с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рывкнул ему:

– Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

– Объясните мне, пожалуйста, – заговорил Персиков, – вы пишете там, в этих ваших газетах?

– Точно так, – почтительно ответил Альфред.

– И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский почтительно рассмеялся:

– Валентин Петрович исправляет.

– Кто это такой Валентин Петрович?

– Заведующий литературной частью.

– Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича! Что именно вам желательно знать насчет кур?

– Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

– Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка – мало!» – черкнул он в блокноте.

– Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... – заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, перед ним подра-

зумевались тысяча человек... – из семейства фазановых... фазанидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что же еще. Крылья короткие и округленные. Хвост средней длины, несколько ступенчатый, даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух... Впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно шесть видов дикоживущих кур... Гм... Португалов знает больше... В Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлюс Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

– Еще что-нибудь вам сообщить?

– Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, – тихонечко шепнул Альфред.

– Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмокониоз, туберкулез, кури-

ные парши... мало ли, что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интересная болезнь: при заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

– А какая же, по-вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

– Какой катастрофы?

– Как, разве вы не читали, профессор? – удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

– Я не читаю газет, – ответил Персиков и насупился.

– Но почему же, профессор? – нежно спросил Альфред.

– Потому что они чепуху какую-то пишут, – не задумываясь, ответил Персиков.

– Но как же, профессор? – мягко шепнул Бронский и развернул лист.

– Что такое? – спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты «Куриный мор в республике».

– Как? – спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

## ГЛАВА 6

### Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов,

зеленые огни трамваев, над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроеным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

– Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дала блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое.

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

– Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. – хохотал и плакал как шакал, рупор, – в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлексорами:

*Под угрозой тяжчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытке продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфиска-*

*цией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции.*

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался ключьями, полз струей, выскакивала огненная надпись:

### **Сожжение куриных трупов на Ходынке**

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

– Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, – шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров:

По распоряжению – омлета нет.  
Получены свежие устрицы.

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задуманной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать  
Без яиц?..

— и грохотали ногами в чечетке.

Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курий дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты:

## **В театре Корш возобновляется «Шантеклэр» Ростана**

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнувшей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

– Я знаю, отчего ты такой печальный!

– Отциво? – пискливо спрашивал Бим.

– Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

– Га-га-га-га, – смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

– А-ап! – пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

\* \* \*

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданной славой Персигов к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

– Ах, черт! – пискнул Персигов. – Извините.

– Извиняюсь, – ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

## ГЛАВА 7

### Рокк

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах попадались последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван ни кем иным как комиссарами, но особого успеха не имел. На волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, во-вторых, стекла на телеграфе встали.

Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему было дальше некуда, – в Белом море, как известно, куры не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге – пропал и затих где-то в выжженных

пространствах Ордубата, Джудьбы и Карабулака, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнилась новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан «Доброкур», почетными товарищами председателя в который вошли Персикив и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную компанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами:

*Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, – у вас есть свои!*

Профессор Персикив совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартан анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в

течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, — вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыба и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахы самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаху сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк.

После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

– Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, – ответил Персиков.

– Но почему же? – спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку.

– Он быстрее ходит, – ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

– Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте... Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду представитель

Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дышании и в тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

– Вам нехорошо, Владимир Ипатьевич? – набросились со всех сторон встревоженные голоса.

– Нет, нет, – ответил Персиков, оправляясь, – просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

\* \* \*

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

– Ну? – спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

– Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

– Это интересно. Только я занят.

– Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

– Рок с бумагой? Редкое сочетание, – вымолвил Персигов и добавил, – ну-ка, давай его сюда!

– Слушаю-с, – ответил Панкрат и как уж исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персигов скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персигов был слишком далек от жизни, он ею не интересовался, но тут даже Персигову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время, как наиболее даже отставшая часть пролетариата – пекаря – ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч – старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персигова то же впечатление, что и на всех – крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то

же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

– Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразили прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец впери в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

– Я Александр Семенович Рокк!

– Ну-с? Так что?

– Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», – пояснил пришлый.

– Ну-с?

– И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

– Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

– Не толкните стол, – с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали без-

жизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

– Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да ведь он черт знает что наде-  
ляет!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табу-  
рете.

– Извиняюсь, – начал он, – я завед...

Но Персиков махнул на него крючком и продолжал:

– Извините, я не могу понять... Я, наконец, категори-  
чески протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яй-  
цами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали  
было понятно, что голос в трубке, снисходительный, го-  
ворит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый  
Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену  
сказал:

– Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее  
раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь  
очки, и вдруг взвыл:

– Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по  
трапу в опере. Персиков глянул на него и рывкнул:

– Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего  
изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

– Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и не-интересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

– Извиняюсь, – начал он, – вы же, товарищ?..

– Что вы все товарищ да товарищ... – хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако», – написалось на лице у Рокка.

– Изви...

– Так вот-с, пожалуйста, – перебил Персиков, – вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, – Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, – пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2, – Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, – а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазами всматриваясь в камеру.

– Только предупреждаю, – продолжал Персиков, – руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... А злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на профессора. Его руки были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

– А как же вы, профессор?

– Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, раздраженно ответил профессор. – Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу.

– Откуда вы взялись? Вообще... Почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

– Извини...

– Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

– Потому, что это величайшей важности дело...

– Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

– погоди, Панкрат, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

– Я, – говорил Персиков, – не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

– Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, – ответил Рокк, – вы же знаете, что куры издохли все до единой.

– Ну так что же из этого? – завопил Персиков, – что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

– Товарищ профессор, – ответил Рокк, – вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

– И пусть себе пишут...

– Ну, знаете, – загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

– Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

– Мне, – ответил Рокк.

– Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

– Я, профессор, был на вашем докладе.

– Я с яйцами еще не делал!.. Только собираюсь!

– Ей-богу, выйдет, – убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, – ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

– Знаете что, – молвил Персиков, – вы не зоолог? Нет? Жаль... Из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

– Мы вам вернем камеры. Что значит?

– Когда?

– Да вот, я выведу первую партию.

– Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

– У меня есть с собой люди, – сказал Рокк, – и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустились столы. Люди Рокка увезли три большие камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги – это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он

его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собирался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

– Вот, Панкрат, – сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

– Так точно, – плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

– Вот, – повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того, ни с сего любимую игрушку.

– Ты знаешь, дорогой Панкрат, – продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, – жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держа от страха руки по швам...

– Иди, Панкрат, – тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, – ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, пробежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку

русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повесели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупом освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой.

– Лучше б убил, ей бо...

– Неужто плакал? – с любопытством спрашивал котелок.

– Ей... бо... – уверял Панкрат.

– Великий ученый, – согласился котелок, – известно, лягушка жены не заменит.

– Никак, – согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

– Я свою бабу подумываю выписать сюды... Чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем...

– Что говорить, пакость ужаснейшая, – согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

## ГЛАВА 8

### История в совхозе

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем...

Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:



**Совхоз «Красный луч»**

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду – оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика, великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному надписями:

## **Vorsicht!! Eier!!**

### **Осторожно: яйца!!**

– Что же так мало прислали? – удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее и принимали в нем участие: сам Александр Семенович; его необыкновенной толщины жена Маня; кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа; охранитель, обреченный на житье в совхозе; и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

– Вы потише, пожалуйста, – говорил он охранителю. – Осторожнее. Что же вы, не видите – яйца?

– Ничего, – хрипел уездный воин, буравя, – сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

– Заграничной упаковочки, – любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, – это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

– Ты, Александр Семенович, сдурел, – отвечала жена, – какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

– Заграница, – говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, – разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми, немецкие...

– Известное дело, – подтвердил охранитель, любуясь яйцами.

– Только не понимаю, чего они грязные, – говорил задумчиво Александр Семенович... – Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персигов взъерошил волосы и подошел к аппарату.

– Ну? – спросил он.

– С вами сейчас будет говорить провинция, – тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

– Ну. Слушаю, – брезгливо спросил Персигов в черный рот телефона. В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

– Мыть ли яйца, профессор?

– Что такое? Что? Что вы спрашиваете? – раздражился Персигов. – Откуда говорят?

– Из Никольского, Смоленской губернии, – ответила трубка.

– Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

– Рокк, – сурово сказала трубка.

– Какой Рокк? Ах, да... это вы... так что вы спрашиваете?

– Мыть ли их?... прислали из-за границы мне партию куриных яиц...

– Ну?

– А они в грязюке в какой-то...

– Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

– Так не мыть?

– Конечно, не нужно... Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

– Заряжаю. Да, – ответила трубка.

– Гм, – хмыкнул Персиков.

– Пока, – цокнула трубка и стихла.

– «Пока», – с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову, – как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

– Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

– Д... д... д... – заговорил Персиков злобно. – Вы вообразите, Петр Степанович... Ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся... Но, ведь, ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. – Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

– Совершенно верно, – согласился Иванов.

– Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

– Нельзя поручиться, – согласился Иванов.

– И какая развязность, – расстраивал сам себя Персиков, – бойкость какая-то! И, ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручили инструктировать. – Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)... – а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

– А отказаться нельзя было? – спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

– М-да... – сказал он многозначительно.

– И, ведь, заметьте... Я своего заказа жду два месяца и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие...

– Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич. И просто кончится тем, что вернут нам камеры.

– Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

– Да вот это скверно. У меня все готово.

– Вы скафандры получили?

– Да, сегодня утром.

Персиков несколько успокоился и оживился.

– Угу... Я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

– Конечно, – согласился Иванов.

– Три шлема?

– Три. Да.

– Ну вот-с... Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

– Гринмута можно.

– Это который у вас сейчас с саламандрами работает?.. гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, – злопаятно добавил Персиков.

– Нет, он ничего... Он хороший студент, – заступился Иванов.

– Придется уж не поспать одну ночь, – продолжал Персиков, – только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

– Нет, нет, – и Иванов замахал руками, – вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьевич, превосходный газ.

– Вы на ком пробовали?

– На обыкновенных жабах. Пустишь струйку – мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьевич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

– Да я не умею с ним обращаться...

– Я на себя беру, – ответил Иванов, – мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур со мной жил... Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

– Гм... – это остроумная идея... Очень. – Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул...

– Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

\* \* \*

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями было ясно видно, как переливается прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам – косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня-уборщица оказалась в роще за совхозом и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозовского грузовичка. Что они там делали – неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу-луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить невысказанно, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая трель из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную

высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

– Угасают... Угасают... – свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

– А хорошо дудит, сукин сын, – сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерно оглашавшем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославле. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 1928-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хо-

зайственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, сменила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня, ты слышишь!/? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

– Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

– Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блестящими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверху в 15000 свечей тихо шипел.

– Эх, выведу я цыпляток! – с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорези, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, – вот увидите... Что? Не выведу?

– А вы знаете, Александр Семенович, – сказала Дуня, улыбаясь, – мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

– Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

– Темнота, – молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно

светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы – международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать и толковали самым неприятным образом, т.е. за спиной Александра Семеновича.

– Действительно, это странно, – сказал за обедом Александр Семенович жене, – я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

– Откуда я знаю? – ответила Маня. – Может быть, от твоего луча?

– Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, – ответил Александр Семенович, бросив ложку, – ты – как мужики. При чем здесь луч?

– А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз – опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных яйцах. «Токи... токи... токи... токи...» – стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

– Ну, что? Что вы скажете? – победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры.

– Это они клювами стучат, цыплятки, – продолжал, сияя, Александр Семенович. – Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои, – и от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. – Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, – строго добавил он. – Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать.

– Хорошо, – хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

«Таки... таки... таки...» – закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на

глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей коже была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы – совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

– Непонятное дело, – уверял охранитель, – я тут непричинен, товарищ Рокк.

– Спасибо вам, и от души благодарен, – распекал его Александр Семенович, – что вы, товарищ, думаете? Зачем вас поставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

– Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю, – обиделся наконец воин. – Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

– Куды ж они подевались?

– Да я почем знаю, – взбесился наконец воин, – что я их, укараулю разве? Я зачем поставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот

вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, пробурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

– Черт их знает, – бормотал Александр Семенович, – окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

– Что вы, Александр Семенович, – крайне удивилась Дуня, – станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... Цып... цып... цып... – начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева,

напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранже-  
рею и убедился, что теперь там все в полном порядке.  
Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел  
в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодр-  
ствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные  
позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как  
будто внутри них кто-то всхлипывал.

– Ух, зреют, – сказал Александр Семенович, – вот это  
зреют, теперь вижу. Видал? – отнесся он к сторожу...

– Да, дело замечательное, – ответил тот, качая головой и  
совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при  
нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся  
и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пойдет  
на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно  
вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две  
узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на  
полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса,  
приготовленного для будущих выводков, вооружился  
мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой флей-  
ту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водной гладью. Он  
бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой  
аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая  
полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало  
зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой  
руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он,  
проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой пута-  
ницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок  
бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в

сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять — мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз

ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова снова взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — слышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронзил весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея при-

близительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была видна белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы как проволочные поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

## ГЛАВА 9

### Живая каша

Агент государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

– Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, – потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: – Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

– Вы поедете с нами, – сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, – покажете нам где и что. – Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

– Нужно показать, – добавил сурово Полайтис.

– Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

– Отправьте меня в Москву, – плача, попросил Александр Семенович.

– Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

– Ну, ладно, – решил Щукин, – вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание... Полайтис полагал, что вообще ничего не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролирует цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

– Слушайте меня. Слушайте. Что же вы мне не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это была уже хорошая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле два метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промahnуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал двадцать верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного ужаса,

в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка топь,глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

– Эй, кто тут есть! – крикнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через открытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

– Ты знаешь, что-то действительно случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, – молвил Полайтис.

– Эй, кто там есть! Эй! – кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

– Черт их знает! – ворчал Щукин. – Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего

решительно не добились и, через вымершее крыльцо, вновь вышли во двор.

– Обойдем кругом. К оранжереям, – распорядился Щукин, – все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

– Погоди-ка, – заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулемет. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с-с...» – шипела оранжерея.

– А ну-ка, осторожно, – шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от него вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия на крыше. На самом

электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

– Назад, – крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. «Чах-чах-чах-чах», – стрелял Полайтис, отступая задом. Страшный, четырехлапый шорох слышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбило его на землю.

– Помоги, – крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что

оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив все вокруг зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

– Щукин... беги, – промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не слышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

## ГЛАВА 10

### Катастрофа

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу республик». Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

*Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья.*

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж, — что же, ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, — просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно, — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа,

как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: ничего интересного, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинетах у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

– Понял... Слушаю-с, – говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

– Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь прямо, что он – свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» – подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

– Это черт знает что такое, – скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, – это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудями, а я два месяца не могу добиться необходимого.словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие. – Он стал считать по пальцам: – Ловля... ну, десять дней самое большее, ну, хорошо – пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неопишное безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим», «не прикасаться» и рисунками черепа со скелетными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремowymi стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве, о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в художественном театре на «Федоре Иоанновиче», и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персигов около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну, что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию. И механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «занята», «занято», и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка и капитан дальнего плавания говорил им:

– Аэропланы с газом придется посылать.

– Не иначе, – отвечали наборщики, – ведь это что ж такое. – Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

– Этого Персикова расстрелять надо.

– При чем тут Персиков, – отвечали из гущи, – этого сукина сына в совхозе – вот кого надо расстрелять.

– Охрану надо было поставить, – выкрикивал кто-то.

– Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор, вперемешку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листья газеты

одеди ее, как птицы. Листья сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватало номеров, несмотря на то, что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персигов выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «осторожно – яйца».

Бурная радость овладела профессором.

– Наконец-то, – вскричал он. – Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, бушевал его голос.

– Да они что же, издеваются надо мною, что ли, – был профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца. – Это какая-то скотина, а не Птах. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

– Яйца-с, – отвечал Панкрат горестно.

– Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в совхоз!

Персигов бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

– Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! – загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сияющей на затылке и с газетным листом в руках.

– Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, – выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «экстренное приложение», посередине которого красовался яркий цветной рисунок.

– Нет, выслушайте, что они сделали, – в ответ закричал, не слушая, Персиков, – они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

– Так вот что, – задыхаясь забормотал он, – теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, – он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей. – Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

– Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

– Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской гу-

бернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

– Что такое? – ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... – Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

– Вот откуда.

– Что-о?! – завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

– Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

– Боже мой... боже мой, – повторил Персиков и, зеленя лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

– Ну теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, – и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... – Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сума-

сшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

– Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! – в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

– Анаконда... анаконда, – загремело эхо.

– Лови профессора! – взвизгнул Иванов Панкрату, заплывавшему от ужаса на месте. – Воды ему... у него удар.

## ГЛАВА 11

### Бой и смерть

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало. В квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взор в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывая летающие белые конусы на Москву, и исчезали и гасли. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал каждые десять минут приходили поезда, сбитые как попало из то-

варных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы – это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии в Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах, выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщили, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевали за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и на восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ошестинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью:

## Осторожно. Третьяковская галерея

Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, непрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочащая копытами по торцам, змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

– Да здравствует конная армия! – кричали иступленные женские голоса.

– Да здравствует! – отзывались мужчины.

– Задавят!!.. Давят!.. – выли где-то.

– Помогите! – кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуара, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конского строя, цеплялись за стремяна и целуя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

– Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых

шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «газ», «Доброхим».

– Выручайте, братцы, – завывали с тротуаров, – бейте гадов... Спасайте Москву!

– Мать... мать... – перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,  
Побьем мы гадов без сомненья,  
Четыре сбоку – ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным десять лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура...»

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами на свой страх и риск, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от

столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте – Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей и отозвался голос

Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». – Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем глаза его на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

– Никуда я не пойду, – проговорил он, – это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! – позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопнушки выстрелов, а потом весь каменный институт заполнился бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, но он отбил ее от себя, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

– Ну? – спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

– Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетали из дверей, завывая:

– Бей его! Убивай...

– Мирового злодея!

– Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

– Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? – Завыл: – Вон отсюда! – и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: – Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

– Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марию Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

## ГЛАВА 12

### Морозный бог на машине

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пре-

смыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую неожиданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них были прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго поварьные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою Храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института

выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек – покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

*Москва, 1924 год, октябрь*

# СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

## (Чудовищная история)

### ГЛАВА 1

У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поёт на лугу при луне – «Милая Аида» – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипятчком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление лёгких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на пададном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормаль-

ного питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С... эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да...

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она...

Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик» она назвала его... Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и

рванный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь... Р-р-р...

Гау-гау...

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не воорует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?

Вот он рядом... Чего ждёт? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме, такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых пер-

чаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У-у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку.

Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что... – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарiku, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А-га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощёлкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью – как бы не потерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так

напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, не смотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудака, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф-р-р-р... га...у! Вон! Не напасёшься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудака. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известно нам этот переулочек.

Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Фёдор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

– Да ничего-с.

– А Фёдор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Чёрт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули и вот – бельэтаж.

## ГЛАВА 2

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются), вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб

бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом Шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее, пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и «б» – подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина «Чичкина», горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнувший бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «Милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких случаях, – салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины...

Гау-гау... га... строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью...

Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о «про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? – подумал Шарик с удивлением... – «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его знает что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», – подумал пёс.

– Пожалуйста, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки! До чего паршивый!

– Вздор говоришь. Где паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко сверкала золотая цепь.

– погоди-ка, не вертись, фить... Да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... Да стой ты, чёрт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар, каторжник повар!» – жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной камере, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет», – мысленно завыл пёс, – «Извините, не дамся! Понимаю, чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя».

– Э, нет, куда?! – закричала та, которую называли Зиной.

Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.

– Куда ты, чёрт лохматый?.. – кричала отчаянно Зина, – вот окаанный!

«Где у них чёрная лестница?..» – соображал пёс. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

– Стой, с-скотина, – кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

– Ба... батюшки, вот так пёс!

Ещё шире распахнулась дверь и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причём пёс с увлечением тянул её повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась.

Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво вбок.

«Спасибо, конечно», – мечтательно подумал он, ваясь прямо на острые стёкла:

– «Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодёры, за что же вы меня?

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

\* \* \*

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины дети, – подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость».

– «От Севильи до Гренады... В тихом сумраке ночей», – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

«Угодники!» – подумал пёс, – «Это стало быть я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

– «Р-раздаются серенады, раздаётся стук мечей!». Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

«У-у-у» – жалобно заскулил пёс.

– Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос и

триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком и в шкафу зазвенели склянки.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стёкла и женский голос кокетливо заметил:

– Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

– Только попробуй. Я тебе съем! Это отравы для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребёнок тащишь в рот всякую гадость. Не смей!

Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...».

Мягкие drobные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идём принимать.

Пёс поднялся на нетвёрдые ноги, покачался и задрожал, но быстро оправился и пошёл следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пёс пересёк узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещён сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошёл с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стёклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

– Ложись, – приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошёл тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

– Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», – в смятении подумал пёс и привалился на ковровый узор у тяжёлого кожаного дивана, – «а сову эту мы разясним...»

Дверь мягко открылась и вошёл некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко...

– Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущённо поклонился Филиппу Филипповичу.

– Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, – сконфуженно вымолвил он.

– Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе», – подумал пёс, – «вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зелёные волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, её приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяю, тяю!.. – он легонько потявкал.

– Молчать! Как сон, голубчик?

– Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, – конфузливо заговорил посетитель. – Пароль Дьоннер – 25 лет ничего подобного, – субъект взялся за пуговицу брюк, – верите ли, профессор, каждую ночь обнажённые девушки стаями. Я положительно очарован. Вы – кудесник.

– Хм, – озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шёлковыми чёрными кошками и пахли духами.

Пёс не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

– Ай!

– Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» – удивился пёс.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковёр ма-

ленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал её и густо покраснел.

– Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – всё-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

– Я не зло... – смущённо забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта.

– Ну, и что же? Какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

– 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

– А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

– Проклятая Жиркость<sup>153</sup>!. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. – Им морду нужно бить! – свирепея, добавил он. – Что же мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво.

– Хм, обрейтесь наголо.

– Профессор, – жалобно восклицал посетитель, – да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

---

<sup>153</sup> «Жиркость» – сов. учреждение по изготовлению косметических средств.

– Не сразу, не сразу, мой дорогой, – бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

– Ну, что ж, – прелестно, всё в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен...». Одевайтесь, голубчик!

– «Я же той, что всех прелестней!..» – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

– Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но всё-таки прошу вас: будьте осторожны.

– Профессор! – из-за двери в экстазе воскликнул голос, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошёл тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

– Годы показаны не правильно. Вероятно, 54–55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жёванной шее. Станные чёрные мешки висели у неё под глазами, а щёки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

– Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил её Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

– Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

– Лет вам сколько, сударыня? – ещё суровее повторил Филипп Филиппович.

– Честное слово... Ну, сорок пять...

– Сударыня, – возопил Филипп Филиппович, – меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

– Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь – это такой ужас...

– Сколько вам лет? – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович и очки его блеснули.

– Пятьдесят один! – корчась со страху ответила дама.

– Снимайте штаны, сударыня, – облегчённо молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

– Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстёгивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

– «От Севильи до Гренады...» – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

– Клянусь богом! – говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на её щеках, – я знаю – это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пёс совершенно затуманился и всё в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к чёрту», – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – «И стараться не буду понять, что это за штука – всё равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго.

– Ах, профессор, неужели обезьяны?

– Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович.

– Когда же операция? – бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

– «От Севильи до Гренады...» Угм... В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

– Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

– Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – 50 червонцев.

– Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пёс дремал, тошнота прошла, пёс наслаждался утихим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тьякнул над головой.

– Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

– Господа, – возмущённо кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

– Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

– Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка», – думал пёс, – «но до чего хорошо! А на какого чёрта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавёлся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, моё счастье! А сова эта дрянь... Наглая.

Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» – удивлённо подумал пёс.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов.

Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

– Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, – вот по какому делу...

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, –

во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, – молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

– Во-первых, – перебил его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.

– Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папаче.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я вам не милостивый государь, – резко заявил блондин, снимая папачу.

– Мы пришли к вам, – вновь начал чёрный с копной.

– Прежде всего – кто это мы?

– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил чёрный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы...

– Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?

– Нас, – ответил Швондер.

– Боже, пропал калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеётесь?

– Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую! Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишённый головного убора, – однако, это здорово.

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приёмная – заметьте – она же библиотека, столовая, мой кабинет – 3. Смотровая – 4. Операционная – 5. Моя спальня – 6 и комната прислуги – 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, – сказал четвёртый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан, – звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнёс ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и

делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рывкнул он и багровость его стала жёлтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где её принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, – одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пёс, – весь в меня. Ох, тыпнет он их сейчас, ох, тыпнет. Не знаю ещё – каким способом, но так тыпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... Р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в неё так:

– Пожалуйста... Да... Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её.

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините... У меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Пётр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, – вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

– Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень!» – восхищённо подумал пёс, – «что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить – как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплётанного Швондера.

– Это какой-то позор! – несмело вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Петру Александровичу...

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём... Только я, как заведующий культотделом дома...

– За-ве-дующая, – поправил её Филипп Филиппович.

– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Вы не сочувствуете детям Германии?

– Сочувствую.

– Жалеете по полтиннику?

– Нет.

– Так почему же?

– Не хочу.

Помолчали.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дёрнул её за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

– Зина, – крикнул Филипп Филиппович, – подавай обед. Вы позвольте, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приёмную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

### ГЛАВА 3

На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадучке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжёлый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчал. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

– Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый – он был уже без халата в приличном чёрном костюме – передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

– Ново-благословенная? – осведомился он.

– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная – 30 градусов.

– А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, – а во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову?

– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.

– И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, – ...Мм... Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... Я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады...».

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру.

Глаза Филиппа Филипповича засветились.

– Это плохо? – жуя спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

– Это бесподобно, – искренно ответил тяпнутый.

– Ещё бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно готовили в Славянском Базаре. На, получай.

– Пса в столовой прикармливаете, – раздался женский голос, – а потом его отсюда калачом не выманишь.

– Ничего. Бедняга наголодался, – Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнувший раками пар; пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.

– Гм... Да ведь других нет.

– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе.

– Гм... – с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

– Мало этого. Пониженные коленные рефлексy, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

– Вот чёрт...

– Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портъере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.

Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать,

и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, – думал он, захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы.

– Сен-Жюльен – приличное вино, – сквозь сон слышал пёс, – но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягчённый потолками и коврами, хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина.

– Зинуша, что это такое значит?

– Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – ответила Зина.

– Опять! – горестно воскликнул Филипп Филиппович, – ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда – спрашивается? Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

– Убивается Филипп Филиппович, – заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

– Да ведь как не убиваться?! – возопил Филипп Филиппович, – ведь это какой дом был – вы поймите!

– Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, – возразил красавец тяпнутый, – они теперь резко изменились.

– Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я – человек фактов, человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России,

но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

– Это интересно...

«Ерунда – калоши. Не в калошах счастье», – подумал пёс, – «но личность выдающаяся».

– Не угодно ли – калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая – подчёркиваю красным карандашом: ни одного – чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

– Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – заикнулся было тяпнутый.

– Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. – Гм... Я не признаю ликёров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нём есть теперь калоши и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, – кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь). На какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

– Разруха, Филипп Филиппович.

– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепаха, заёрзали по скатерти. – Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? – яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. – Это вот что: если я, вместо того, чтобы опериро-

вать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались.

Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», —

мутно мечтал пёс, – «первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

– Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! – «Угу-гу-гу!»

Какие-то пузыри лопались в мозгу пса...

– Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

– Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, – шутливо заметил тяпнутый, – не дай бог вас кто-нибудь услышит.

– Ничего опасного, – с жаром возразил Филипп Филиппович. – Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно – что под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «мерси».

– Минутку, доктор! – приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами:

– Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

– Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он.

– Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... тари-ра-рим.

– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, – под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, – начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола – в питательную жидкость и ко мне!

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, – патологоанатомы мне обещали.

– Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживает.

«Обо мне заботится», – подумал пёс, – «очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он – волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы всё это

я видел во сне. А вдруг – сон? (Пёс во сне дрогнул). Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды день, серые гармоники под подоконником наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, всё трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса – красавца.

«Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито», – размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно.

Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной заку-

палась грудка обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича – два полновзвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в черноту лисе, сверкая миллионом снежных блёсток, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

– Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, – возмущённо говорила Зина, – а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

– Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

– Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь – как он не лопнет.

– Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

– У-у! – скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приём-

ную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на задугу, как в цирке.

Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином.

На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

– Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, – расстроенно докладывала Зина, – ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её – цап! Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковра, тащили тыкать в сову, причём пёс заливался горькими слезами и думал – «бейте, только из квартиры не выгоняйте».

– Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 15 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пёс понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с

удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственно-ручно отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил:

– Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.

– Ещё бы, – за шестерых лопают, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник – всё равно, что портфель», – сострил мысленно пёс, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещён, а именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клочкотала и шипела в закрытых сосудах...

– Вон! – завопила Дарья Петровна, – вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься?» – умильно щурил глаза пёс. – «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» – и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду.

Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашницей, заливала всё это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой.

В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

– Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна – отстань! Зина сейчас придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

– Нам это ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.

Огней под потолком не было. Горела только одна зелёная лампа на столе.

Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах.

Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.

– «К берегам священным Нила», – тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в пёсью шкуру оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла, – думал пёс, – а как придёт, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, – телячьи отбивные»!

В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие.

Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.

Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — слышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забежала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер. И прежде всего благодаря появле-

нию тяпнутого некогда доктора Борменталья. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

– Когда умер? – закричал он.

– Три часа назад. – Ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстёгивая чемодан.

«Кто такой умер?» – хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под ноги, – «терпеть не могу, когда мечутся».

– Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! – закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. – Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас – скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», – пёс обиженно нахмурился и стал шлаться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ли, пожрать? Ну их в болото», – решил пёс и вдруг получил сюрприз.

– Шарiku ничего не давать, – загремела команда из смотровой.

– Усмотришь за ним, как же.

– Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство», – подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, – «просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа – то ли в злобе, то ли в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», – думал он, – «две пары уже пришлось прикупить и ещё одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности – солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать, – тосковал пёс, сопя носом, – привык. Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

«У-у-у!» – как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздери опять» – бешено, но бессильно подумал пёс. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь открылась. Пёс вышел, отрянувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую.

Холодок прошёл у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился?» – подумал он подозрительно, – «бок зажил, ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в чёрных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.

– Ошейник, Зина, – негромко молвил Филипп Филиппович, – только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.

«Что же... Вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» – подумал пёс и попятился от тяпнутого.

– Скорее, доктор, – нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей...» – мелькнуло в голове. – «За что?» – И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

– На стол! – весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом – ничего.

## ГЛАВА 4

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пёс Шарик и голова его беспомощно колотилась о белую клеёнчатую подушку. Живот его был выстрижен и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

– Иван Арнольдович, самый важный момент – когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнёт кровото-чить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, – он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил:

– А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на чёрную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки.

Борменталь отшвырнул машинку и вооружился брит-вой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступала кровь. Обрив голову, ткнутой мокрым бензиновым ко-мочком обтёр её, затем оголённый живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной и Борменталь бро-сился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

– Можно мне уйти, Филипп Филиппович? – спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

– Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Лёгкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пё-сий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на со-бачью голову и сказал:

– Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец.

– Спит? – спросил Филипп Филиппович.

– Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький, колючий блеск и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась и из неё брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал её края и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз и тело Шарика вдвоём начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и жёлтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в неё комком марли и скомандовал:

– Шейте, доктор, мгновенно кожу, – затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

– 14 минут делали, – сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

– Нож, – крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приёмом навёл на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

– Трёпан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, сунув её хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга – серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Борменталь с торсионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук

профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до дёсен. Он ободрал оболочку с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

– Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался ещё глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из неё шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

– Иду к турецкому седлу, – зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-жёлтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с жёлтой жидкостью и вытянул её в длинный шприц.

– В сердце? – робко спросил он.

– Что вы ещё спрашиваете? – злобно заревел профессор, – всё равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? – Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

– Живёт, но еле-еле, – робко прошептал он.

– Некогда рассуждать тут – живёт – не живёт, – засипел страшный Филипп Филиппович, – я в седле. Всё равно помрёт... Ах, ты че... «К берегам священным Нила...». Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на

нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой – «Не имеет равных в Европе... Ей-богу!», – смутно подумал Борменталь, – он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распряленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

– Умер, конечно?..

– Нитевидный пульс, – ответил Борменталь.

– Ещё адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

– Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из неё облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

– Папиросу мне сейчас же, Зина. Всё свежее бельё и ванну.

Он подбородком лёг на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

– Вот, чёрт возьми. Не издох. Ну, всё равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

## ГЛАВА 5

### **Из дневника доктора Борменталья**

(Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чётко, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.).

\* \* \*

***22 декабря 1924 г. Понедельник. История болезни.***

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода дворняжка. Кличка – Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топлёного молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.).

Сердце, лёгкие, желудок, температура...

\* \* \*

***23 декабря.***

В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе опе-

рация по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удалён после трепанации черепной крышки придаток мозга – гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

\* \* \*

**24 декабря.**

Утром – улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

\* \* \*

### ***25 декабря.***

Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

\* \* \*

### ***26 декабря.***

Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

\* \* \*

### ***27 декабря.***

Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

\* \* \*

### ***28 декабря.***

Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

\* \* \*

### ***29 декабря.***

Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища.

Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского Ветеринарного Показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура – 37,0.

(Запись карандашом).

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдалённо напоминает стон.

\* \* \*

**30 декабря.** Выпадение шерсти приняло характер общего облысения.

Взвешивание дало неожиданный результат – 30 кг за счёт роста (удлинение) костей. Пёс по-прежнему лежит.

\* \* \*

**31 декабря.**

Колоссальный аппетит.

(В тетради – клякса. После кляксы торопливым почерком). В 12 ч. 12 мин. дня пёс отчётливо пролаял а-б-ыр.

\* \* \*

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

**1 декабря.** (перечёркнуто, поправлено) 1 января 1925 г.

Фотографирован утром. Счастливо лает «абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) ЗАСМЕЯЛСЯ, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово «абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

\* \* \*

*2 января.*

Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. – глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

\* \* \*

(Перерыв в записях).

\* \* \*

**6 января.**

(То карандашом, то фиолетовыми чернилами).

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает что такое.

\* \* \*

Я теряюсь.

\* \* \*

Приём у профессора прекращён. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «ещё парочку».

\* \* \*

**7 января.**

Он произносит очень много слов: «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

\* \* \*

Ей-богу, я с ума сойду.

\* \* \*

Филипп Филиппович всё ещё чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии).

\* \* \*

По городу расплылись слухи.

\* \* \*

Последствия неисчислимы. Сегодня днём весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас ещё под окнами.

В утренних газетах появилась удивительная заметка «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чём не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». — О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это — кошмар.

\* \* \*

Ещё лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «проф. Преображенский, делавший кесарево сечение

у матери». Это – что-то неопишемое... Он говорит новое слово «милиционер».

\* \* \*

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортёров, один из них пролез на кухню и т. д.

\* \* \*

Что творится во время приёма! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

\* \* \*

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем – сами не знают.

**8 января.** Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку – перемена гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечение (подчёркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (зачёркнуто)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчётливо произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

– Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете, общими усилиями Шарик был водворён в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...». Я ничего не понял. Он пояснил:

– «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему бельё, штаны и пиджак».

**9 января.** Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами.

Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «не толкайся», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание америки», «примус».

**10 января.** Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идёт на лад.

**11 января.** Совершенно примирился со штанами. Произнёс длинную весёлую фразу: «Дай папиросочку, – у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове – слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей.

Колоссальный аппетит. С увлечением ест селёдку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые существом, не были оторваны от окружающих явлений, а

явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» – неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:

– Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!

**12 января.** Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.

Свистал «ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза – мозгового придатка – разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме – гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы – творец. (Клякса).

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем

мозгу и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, – уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

\* \* \*

Шарик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я догадался. По Главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

\* \* \*

Что в Москве творится – уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приёмной с Шариком. Смотровая превращена в приёмную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах

ни одного стекла, потому что прыгал.

Еле отучили.

\* \* \*

С Филиппом Филипповичем что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

\* \* \*

(В тетради вкладной лист.).

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной («стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

\* \* \*

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю в чём дело. Бурчал что-то насчёт того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чём дело – не понимаю. Не всё ли равно чей гипофиз?

*17 января.* Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился. а) совершенный человек по строению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая; д) начал курить; е) ест человеческую пищу; ж) одевается самостоятельно; з) гладко ведёт разговор.

\* \* \*

Вот так гипофиз (клякса).

\* \* \*

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор Борменталь.

## ГЛАВА 6

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприёмное время. На притолоке у двери в приёмную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

*«Семечки есть в квартире запрещая».*

*Ф. Преображенский.*

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталья:

*«Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается».*

Затем рукой Зины:

*«Когда вернётесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю – куда он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером».*

Рукой Преображенского:

*«Сто лет буду ждать стекольщика?»*

Рукой Дарьи Петровны (печатно):

**«ЗИНА УШЛА В МАГАЗИН, СКАЗАЛА ПРИВЕДЁТ».**

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шёлковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный лист газеты.

Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

*«...выражались в гнилом буржуазном обществе – ...сын. Вот как развлекается наша псевдоучёная буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв...р»*

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

– Све-е-етит месяц... Све-е-етит месяц... Светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

– Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.

На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как

с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штилеты с белыми гетрами.

«Как в калошах» – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвонили пять раз. Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

– Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне – тем более днём?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

– Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

– Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстук.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

– Чем же «гадость»? – заговорил он, – шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

– Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

– Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

– Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

– Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это всё Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

– Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

– Понятно, я вас спрашиваю?

– Понятно.

– Убрать эту пакость с шеи. Вы.....Вы посмотрите на себя в зеркало на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать – в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пёс его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

– Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

– Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

– Да что вы всё... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даёте?! И насчёт «папаши» – это вы

напрасно. Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущённо лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завёл глаза к потолку как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», – пролетело у него в голове.

– Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? – прищурившись спросил он. – Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мёрзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

– Да что вы всё попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

– Филипп Филиппович! – раздражённо воскликнул Филипп Филиппович, – я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», – подумалось ему.

– Уж, конечно, как же... – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет своё право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжёванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурочек в раковине с

выражением, ясно говорящим: «На! На!». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

– Пальцами блох ловить! Пальцами! – яростно крикнул Филипп Филиппович, – и я не понимаю – откуда вы их берёте?

– Да что уж, развожу я их, что ли? – обиделся человек, – видно, блохи меня любят, – тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей лёгкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

– Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?

– Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.

– Хм... Чёрт! Документ! Действительно... Кхм... А, может быть, это как-нибудь можно... – Голос его звучал неуверенно и тоскливо.

– Помилуйте, – уверенно ответил человек, – как же так без документа? Это уж – извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

– Причём тут домком?

– Как это при чём? Встречают, спрашивают – когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

– Ах, ты, господи, – уныло воскликнул Филипп Филиппович, – встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

– Что я, каторжный? – удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо всё-таки сдерживать себя», – подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

– Отлично-с, – поспокойнее заговорил он, – дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

– Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

– Чьи интересы, позвольте осведомиться?

– Известно чьи – трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

– Почему же вы – труженик?

– Да уж известно – не нэпман.

– Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

– Известно что – прописать меня. Они говорят – где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это – раз. А самое главное учётная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же – союз, биржа...

– Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... э... гм... Вы ведь, так сказать, – неожиданно явившееся существо, лабораторное. – Филипп Филиппович говорил всё менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

– Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить всё по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

– Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.

– Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

– Полиграф Полиграфович.

– Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьёзно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

– Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно. – Мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: «дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его.

Напившись из другого, подумал: «Ещё немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твёрдостью произнёс:

– Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя по-

казалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

– Домком посоветовал. По календарю искали – какое тебе, говорят? Я и выбрал.

– Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

– Довольно удивительно, – человек усмехнулся, – когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях и на звонок явилась Зина.

– Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппович спросил:

– Где?

– 4-го марта празднуется.

– Покажите... гм... чёрт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а человек покачал укоризненно головою.

– Фамилию позвольте узнать?

– Фамилию я согласен наследственную принять.

– Как? Наследственную? Именно?

– Шариков.

\* \* \*

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

– Как же писать? – Нетерпеливо спросил он.

– Что же, – заговорил Швондер, – дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... Зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом.

– Гм... Вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом...

– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень не просто.

– Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

– Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «да»... Покраснел и закричал:

– Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? – и он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

– Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздражённо прочитал вслух:

– «Сим удостоверяю»... Чёрт знает, что такое... гм... «Предъявитель сего – человек, полученный при лабораторном опыте путём операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Чёрт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись – «профессор Преображенский».

– Довольно странно, профессор, – обиделся Швондер, – как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

– Я воевать не пойду никуда! – вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени незнательно. На воинский учёт необходимо взяться.

– На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли – мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

– Я тяжело раненный при операции, – хмуро подвыл Шариков, – меня, вишь, как отделали, – и он показал на голову. Поперёк лба тянулся очень свежий операционный шрам.

– Вы анархист-индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови.

– Мне белый билет полагается, – ответил Шариков на это.

– Ну-с, хорошо-с, не важно пока, – ответил удивлённый Швондер, – факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

– Вот что, э... – внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, – нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить.

Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашённый загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», – подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

– Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам,

дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот – тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушённый женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны.

Затем завыл Шариков.

– Боже мой, ещё что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

– Кот, – сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в неё, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

– Сколько раз я приказывал – котов чтобы не было, – в бешенстве закричал Филипп Филиппович. – Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приёмной!

– В ванной, в ванной проклятый чёрт сидит, – задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

– Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

– Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Фи-

липпович налёг на дверь и стал её рвать. Распаренная Дарья Петровна с искажённым лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червиной трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на чёрную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтёрла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересёк кухню и спросил старуху грозно:

– Что вам надо?

– Говорящую собачку любопытно поглядеть, – ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович ещё более побледнел, к старухе подошёл вплотную и шепнул удушливо:

– Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

– Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

– Вон, я говорю! – Повторил Филипп Филиппович и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собствен-

норучно трахнул чёрной дверью за старухой. – Дарья Петровна, я же просил вас.

– Филипп Филиппович, – в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнажённые руки в кулаки, – что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть всё бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно.

Вошёл доктор Борменталь.

– Иван Арнольдович, убедительно прошу... Гм... Сколько там пациентов?

– Одиннадцать, – ответил Борменталь.

– Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

– Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

– Гу-гу! – Жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

– Какого чёрта!.. Не слышу, закройте воду.

– Гау! Гау!..

– Да закройте воду! Что он сделал – не понимаю... – приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович ещё раз прогрохотал кулаком в дверь.

– Вот он! – Выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, – царапина.

– Вы с ума сошли? – спросил Филипп Филиппович. – Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

– Защёлкнулся я.

– Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

– Да не открывается, окаянный! – испуганно ответил Полиграф.

– Батюшки! Он предохранитель защёлкнул! – вскричала Зина и всплеснула руками.

– Там пуговка есть такая! – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, – нажмите её книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

– Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно.

– Да лампу зажгите. Он взбесился!

– Котяра проклятый лампу раскокал, – ответил Шариков, – а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свёрнутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор с зажжённой венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

– Ду... Гу-гу! – что-то кричал Шариков сквозь рёв воды.

Послышался голос Фёдора:

– Филипп Филиппович, всё равно надо открывать, пусть разойдётся, отсосём из кухни.

– Открывайте! – сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо – в кухню и налево в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула в неё дверь. По щиколотку в воде вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке – весь мокрый.

– Еле заткнул, напор большой, – пояснил он.

– Где этот? – спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

– Бойтся выходить, – глупо усмехаясь, объяснил Фёдор.

– Бить будете, папаша? – донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.

– Болван! – коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные вёдра и раковину.

Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролёт лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней, и вёл переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

– Не будет сегодня приёма, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

– А когда же приём? – добивался голос за дверью, – мне бы только на минуточку...

– Не могу, – Борменталь переступил с носков на каб-

луки, – профессор лежит и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

– Тряпки не берут.

– Сейчас кружками вычерпаем, – отозвался Фёдор, – сейчас.

Звонки следовали один за другим и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

– Когда же операция? – приставал голос и пытался просунуться в щель.

– Труба лопнула...

– Я бы в калошах прошёл...

Синеватые силуэты появились за дверью.

– Нельзя, прошу завтра.

– А я записан.

– Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Фёдор у ног доктора ёрзал в озере, скрёб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он ска-тал громадную тряпку в трубку, лёг животом в воду и по-гнал её из передней обратно к уборной.

– Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? – серди-лась Дарья Петровна, – выливай в раковину.

– Да что в раковину, – ловя руками мутную воду, от-вечал Шариков, – она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

– Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

– Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

– В калоши станьте.

– Да ничего. Всё равно уже ноги мокрые.

– Ах, боже мой! – расстраивался Филипп Филиппович.

– До чего вредное животное! – отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

– Вы про кого говорите? – спросил он у Шарикова с высоты, – позвольте узнать.

– Про кота я говорю. Такая сволочь, – ответил Шариков, бегая глазами.

– Знаете, Шариков, – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, – я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

– Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы всё это учинили и ещё позволяете... Да нет! Это чёрт знает что такое!

– Шариков, скажите мне, пожалуйста, – заговорил Борменталь, – сколько времени вы ещё будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

– Какой я дикарь? – хмуро отозвался Шариков, – ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет – как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

– Вас бы самого поучить! – ответил Филипп Филиппович, – вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

– Чуть глаза не лишил, – мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда чёрный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налётом и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

– Вот вам, Фёдор.

– Покорнейше благодарю.

– Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

– Покорнейше благодарю, – Фёдор помялся, потом сказал. – Тут ещё, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только – за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

– В кота? – спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

– То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать.

– Чёрт!

– Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

– Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

– Полтора.

Филипп Филиппович извлёк три блестящих полтинника и вручил Фёдору.

– Ещё за такого мерзавца полтора целковых платить, – слышался в дверях глухой голос, – да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

– Не смей! – явно болезненным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, уж это действительно, – многозначительно заметил Фёдор, – такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

– Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приёмную и оттуда донёлся его голос:

– Вы что? В кабаке, что ли?

– Это так... – добавил решительно Фёдор, – вот это так... Да по уху бы ещё...

– Ну, что вы, Фёдор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

## ГЛАВА 7

– Нет, нет и нет! – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить.

– Ну, что, ей-богу, – забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания.

– Всё равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так «примите»? – расстроился Шариков, – я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой захватил салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилок, пожалуйста, – добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я ещё водочки выпью? – заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? – осведомился Борменталь, – вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите... – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, ещё рыбы, – произнёс профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, – сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

– Вот всё у вас как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

– А как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс:

– Ну желаю, чтобы все...

– И вам также, – с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднёс к носу, понюхал, а затем проглотил, причём глаза его налились слезами.

– Стаж, – вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивлённо покосился.

– Виноват...

– Стаж! – повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, – тут уж ничего не поделаешь – Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

– Вы полагаете, Филипп Филиппович?

– Нечего полагать, уверен в этом.

– Неужели... – начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

– Spater... – негромко сказал Филипп Филиппович.

– Gut, – отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

– Я не хочу. Я лучше водочки выпью. – Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

– Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?  
– осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

– В цирк пойдём, лучше всего.

– Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Филиппович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

– В театр я не пойду, – неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.

– Икание за столом отбивает у других аппетит, – машинально сообщил Борменталь. – Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

– Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чайстол. Борменталь только повертел головою.

– Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли...

– Уж и так читаю, читаю... – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

– Зина, – тревожно закричал Филипп Филиппович, – убирайте, детка, водку – больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»...

– Эту... как её... переписку Энгельса с этим... Как его – дьявола – с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, – ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая...» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?... А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...

– Так я и думал, – воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, – именно так и полагал.

– Вы и способ знаете? – спросил заинтересованный Борменталь.

– Да какой тут способ, – становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, – дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...

– Насчёт семи комнат – это вы, конечно, на меня намекаете? – Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съёжился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, сколько вы вчера отказали?

— Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рывкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали приём. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стоите... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казённая морда!

— Потому что вы её за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите...

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух

людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить... А в то же время вы наглотались зубного порошку...

– Третьего дня, – подтвердил Борменталь.

– Ну вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу, кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? – что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

– Все у вас негодяи, – испуганно ответил Шариков, оглушённый нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. – Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

– Зина! – кричал Борменталь.

– Зина! – орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приёмной... Она в приёмной?

– В приёмной, – покорно ответил Шариков, – зелёная, как купорос.

– Зелёная книжка...

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казённая, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его... Энгельса с этим чёртом... В печку её!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме – как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквилы в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», – вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду её есть, – сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетитор и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе – котов нету?

– И как такую сволочь в цирк пускают, – хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

– Ну, мало ли кого туда допускают, – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, – что там у них?

– У Соломонского, – стал вычитывать Борменталь, – четыре какие-то... юссемс и человек мёртвой точки.

– Что за юссемс? – Подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

– Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

– Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было всё ясно.

– У Никитиных... У Никитиных... Гм... Слоны и предел человеческой ловкости.

– Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? – недоверчиво спросил Филипп Филиппович.

Тот обиделся.

– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.

– Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своём кабинете. Он зажёл лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зелёным огнём. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его учёный с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» И

что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошёл к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать её на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлечённый из недр Шарикова мозга.

Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек её и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав её конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение.

Редко-редко звучали отдалённые шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетитор в карманчике... Профессор нетерпеливо

поджидал возвращения доктора Борменталья и Шарикова из цирка.

## ГЛАВА 8

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Борменталья.

– Борменталь!

– Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте!

Отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился восемь раз поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

– Ну и меня называйте по имени и отчеству! – совершенно основательно ответил Шариков.

– Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович, – по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

– Я не господин, господа все в Париже! – отлаял Шариков.

– Швондерова работа! – кричал Филипп Филиппович, – ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдёте отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

– Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, – очень чётко ответил Шариков.

– Как? – спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

– Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! – Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги: зелёную, жёлтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

– Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определённо в квартире номер пять у ответственного съёмщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин, – Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, – как новое благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь неё неосторожно вымолвил:

– Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

– Филипп Филиппович, vorsichtig... – предостерегающе начал Борменталь.

– Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. – вскричал

Филипп Филиппович по-русски. – Имейте в виду, Шариков... Господин, что я, если вы позволите себе ещё одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моём доме. 16 аршин – это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

– Я без пропитания оставаться не могу, – забормотал он, – где же я буду харчеваться?

– Тогда ведите себя прилично! – в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулы так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зелёном полумраке сидели двое – сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своём лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Учёные, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова.

Удалились означенные личности лишь после того, как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутах сверх белья, позвонил по телефону в 45 отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Фёдор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день ...», дальше шла римская цифра X.

– Кто они такие? – наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова.

Тот, шатаясь и приликая к шубам, бормотал насчёт того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а – хорошие.

– Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? – поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

– Специалисты, – пояснил Фёдор, удаляясь спать с рубликом в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчёт того, что вот, мол, он не один в квартире.

– Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? – осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

– А может быть, Зинка взяла...

– Что такое?.. – закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстёгнутую кофточку ладонью, – да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

– Спокойно, Зинуша, – молвил он, простирая к ней руку, – не волнуйся, мы всё это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у неё на ключице.

– Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! – заговорил Борменталь растерянно.

– Ну, Зина, ты – дура, прости господи, – начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену он издал звук – не то «и», не то «е» – вроде «эээ»! Лицо его побледнело и судорожно задвигалась челюсть.

– Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 пополудни, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку с стрекозиной талией.

– Филипп Филиппович, – прочувственно воскликнул он, – я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Моё безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

– Да, голубчик, мой... – Растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

– Ей-богу, Филипп Фили...

– Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, – говорил Филипп Филиппович, – голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок... «От Севильи до Гренады...»

– Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. – искренно воскликнул пламенны Борменталь, – если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

– Ну, спасибо вам... «К берегам священным Нила...» Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

– Филипп Филиппович, я вам говорю!.. – страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шёпотом, – ведь это – единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

– Абсолютно невозможно, – вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

– Ну, вот, это же немыслимо, – шептал Борменталь, – в

прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная шутка. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

– И не соблазняйте, даже и не говорите, – профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, – и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» – отъехать не придётся, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

– Какой там чёрт! Отец был судебным следователем в Вильно, – горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

– Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность.

Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня ещё хуже. Отец – кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до Гренады... В тихом сумраке ночей...» Вот, чёрт её возьми.

– Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения, и из-за какого-то извините за выражение, сукиного сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

– Тем более, не пойду на это, – задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

– Да почему?

– Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

– Где уж...

– Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я – московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

– Филипп Филиппович, эх... – горестно воскликнул Борменталь, – значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

– Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

– Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! – с большим чувством ответил Борменталь и развёл руками.

– Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

– А я полагаю, что вы – первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! – яростно перебил Борменталь.

– Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Finita, Клим! – вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович и шкаф ответил ему звоном, – Клим, – повторил он. – Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам как другу, сообщу по секрету, – конечно, я знаю, вы не станете срамить меня – старый осёл Преображенский нарвался на этой операции

как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете – какое, тут, – Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, – но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, – здесь, Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, – сладострастно продолжал Филипп Филиппович, – разложил меня здесь и выпорол, – я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! «От Севильи до Гренады...» Чёрт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал – уму непостижимо. И вот теперь, спрашивается – зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

– Исключительное что-то.

– Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

– Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

– Да! – рявкнул Филипп Филиппович. – Да! Если только злосчастная собака не помрёт у меня под ножом, а вы видите – какого сорта эта операция. Одним словом, я – Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего. Но на какого дьявола? – спраши-

вается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Моё открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? – Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков, – исключительный прохвост.

– Но кто он – Клим, Клим, – крикнул профессор, – Клим Чугунков (Борменталь открыл рот) – вот что-с: две судимости, алкоголизм, «всё поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) – хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады...» – свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, – а не общечеловеческое. Это – в миниатюре – сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же всё-таки учёный.

– Вы великий учёный, вот что! – молвил Борменталь, глотая коньяк.

Глаза его налились кровью.

– Я хотел проделать маленький опыт, после того, как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Доктор, передо мной – тупая безнадёжность, я клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнёс, кося глазами к носу:

– Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Чёрт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов – это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

– Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

– Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его ещё обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

– Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если

кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

– Ещё бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

– О нет, нет, – протяжно ответил Филипп Филиппович, – вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога не клевете на пса. Коты – это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Ещё какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

– А почему не теперь?

– Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы на самом деле спрашиваете да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он всё-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты – это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повёл плечами, твёрдо молвил:

– Кончено. Я его убью!

– Запрещаю это! – категорически ответил Филипп Филиппович.

– Да помилуйт...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

– Погодите-ка... Мне шаги слышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

– Показалось, – молвил Филипп Филиппович и с жаром

заговорил по-немецки в его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

– Минуточку, – вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно поражённый Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещённом четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страха показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад и небольшие его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, всё ещё пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

– Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитёра Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина – невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

– Дарья Петровна, извините ради бога, – опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову.

Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

– Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

– Вы не имеете права биться! – полузадушенный кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

– Доктор! – вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришёл в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

– Ну, ладно, – прошипел Борменталь, – подождём до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приёмную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазовые полы разошлись, возвёл руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

– Ну-ну...

## ГЛАВА 9

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

– Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады», боже мой.

– Он в домкоме ещё может быть, – бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно – что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, в шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

– Так вам и надо! – рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули.

Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей передней.

Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича.

Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись.

Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) В отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

– Ну, что ж, пахнет... Известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

– Караул! – пискнул Шариков, бледнея.

– Доктор!

– Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, – не беспокойтесь, – железным голосом отозвался Борменталь и завопил:

– Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

– Ну, повторяйте, – сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, – извините меня...

– Ну хорошо, повторяю, – сильным голосом ответил совершенно поражённый Шариков, вдруг набрал воздуха, дёрнулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел и голова его совсем погрузилась в шубу.

– Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

– ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

– Прокофьевна, – шепнула испуганно Зина.

– Уф, Прокофьевна... – говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, – ...что я позволил себе...

– Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

– Опьянения...

– Никогда больше не буду...

– Не бу...

– Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, – взмолились одновременно обе женщины, – вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

– Грузовик вас ждёт?

– Нет, – почтительно ответил Полиграф, – он только меня привёз.

– Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

– Куда же мне ещё? – робко ответил Шариков, блуждая глазами.

– Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

– Понятно, – ответил Шариков.

Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание.

Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

– Что же вы делаете с этими... С убитыми котами?

– На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в

одной комнате приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

– Позвольте узнать?

– Я с ней расписываюсь, это – наша машинистка, жить со мной будет. Борменталь надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, – крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.

– Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

– И я с ней пойду, – быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

– Извините, – сказал он, – профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

– Я не хочу, – злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

– Нет, простите, – Борменталь взял Шарикова за кисть руки и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

– Он сказал, негодяй, что ранен в боях, – рыдала барышня.

– Лжёт, – непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. – Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... – Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

– Я отравлюсь, – плакала барышня, – в столовке солонина каждый день... И угрожает... Говорит, что он красивый командир... Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... Каждый день аванс... Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

– Ну, ну, ну, – психика добрая... «От Севильи до Гренады», – бормотал Филипп Филиппович, – нужно перетерпеть – вы ещё так молоды...

– Неужели в этой самой подворотне?

– Ну, берите деньги, когда дают взаймы, – рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

– Подлец, – выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

– Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

– Я на колчаковских фронтах ранен, – пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

– Перестаньте! – крикнул вслед Филипп Филиппович, – погодите, колечко позвольте, – сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

– Ну, ладно, – вдруг злобно сказал он, – попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

– Не бойтесь его, – крикнул вслед Борменталь, – я ему не позволю ничего сделать. – Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

– Как её фамилия? – спросил у него Борменталь. – Фамилия! – заревел он и вдруг стал дик и страшен.

– Васнецова, – ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

– Ежедневно, – взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, – сам лично буду справляться в чистке – не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... Узнаю, что сократили, я вас... Собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, – говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на Борменталевский нос.

– У самих револьверы найдутся... – пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

– Берегитесь! – донёсся ему вдогонку Борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина.

Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме.

Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками к профессору.

– У вас боли, голубчик, возобновились? – спросил осунувшийся Филипп Филиппович, – садитесь, пожалуйста.

– Мерси. Нет, профессор, – ответил гость, ставя шлем на угол стола, я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... Питая большое уважение... Гм... Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... – Пациент полез в портфель и вынул бумагу, – хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать.

Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «...А также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает у него в квартире. Подпись заведующего подотделом

очистки П. П. Шарикова – удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

– Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, – или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

– Извините, профессор, – очень обиделся пациент, и раздул ноздри, – вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... – И тут он стал надуваться, как индейский петух.

– Ну, извините, извините, голубчик! – забормотал Филипп Филиппович, простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задёргал...

– Я думаю, – совершенно отошёл пациент, – но какая всё-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

\* \* \*

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович.

Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

– Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, – и вон из квартиры!

– Как это так? – искренне удивился Шариков.

– Вон из квартиры – сегодня, – монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

– Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

– Убирайтесь из квартиры, – задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом – шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростёртый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приёма по случаю болезни профессора – нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел поцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и насторожённым голосом Зине и Дарье Петровне сказал:

– Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

– Хорошо, – робко ответили Зина и Дарья Петровна.

– Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, – заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо – это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

– Хорошо, – ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, насторожённые, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович.

Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно

зелёное и всё, ну, всё... Вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

## ГЛАВА 10

### Эпилог

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

– Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалось масса народу. Двое в милицейской форме, один в чёрном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

– Не стесняйтесь, профессор, – очень смущённо ото-

звался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. – Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, – человек покосился на усы Филиппа Филипповича и закончил, – и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

– А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

– По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

– Ничего я не понимаю, – ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, – какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... Которого я оперировал?

– Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.

– То есть он говорил? – спросил Филипп Филиппович, – это ещё не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

– Профессор, – очень удивлённо заговорил чёрный человек и поднял брови, – тогда его придётся предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

– Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, – приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустил на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе.

Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:

– Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

– Я его туда не назначал, – ответил Филипп Филиппович, – ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

– Я ничего не понимаю, – растерянно сказал чёрный и обратился к первому милиционеру. – Это он?

– Он, – беззвучно ответил милицейский. – Форменно он.

– Он самый, – послышался голос Фёдора, – только, сволочь, опять оброс.

– Он же говорил... Кхе... Кхе...

– И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

– Но почему же? – тихо осведомился чёрный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

– Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите.

Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

– Неприличными словами не выражаться, – вдруг гаркнул пёс с кресла и встал.

Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха и в ней отчётливей всего были слышны три фразы:

Филипп Филипповича:

– Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья:

– Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера:

– Прошу занести эти слова в протокол.

\* \* \*

Серые гармонии труб играли. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с её одинокой звездой. Высшее существо, важный пёсий благодетель сидел в кресле, а пёс Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и тёплые.

«Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка,

царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживёт. Нам на это нечего смотреть».

\* \* \*

В отделении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

– «К берегам священным Нила...»

Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, – упорный человек, настойчивый, всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

– «К берегам священным Нила...»